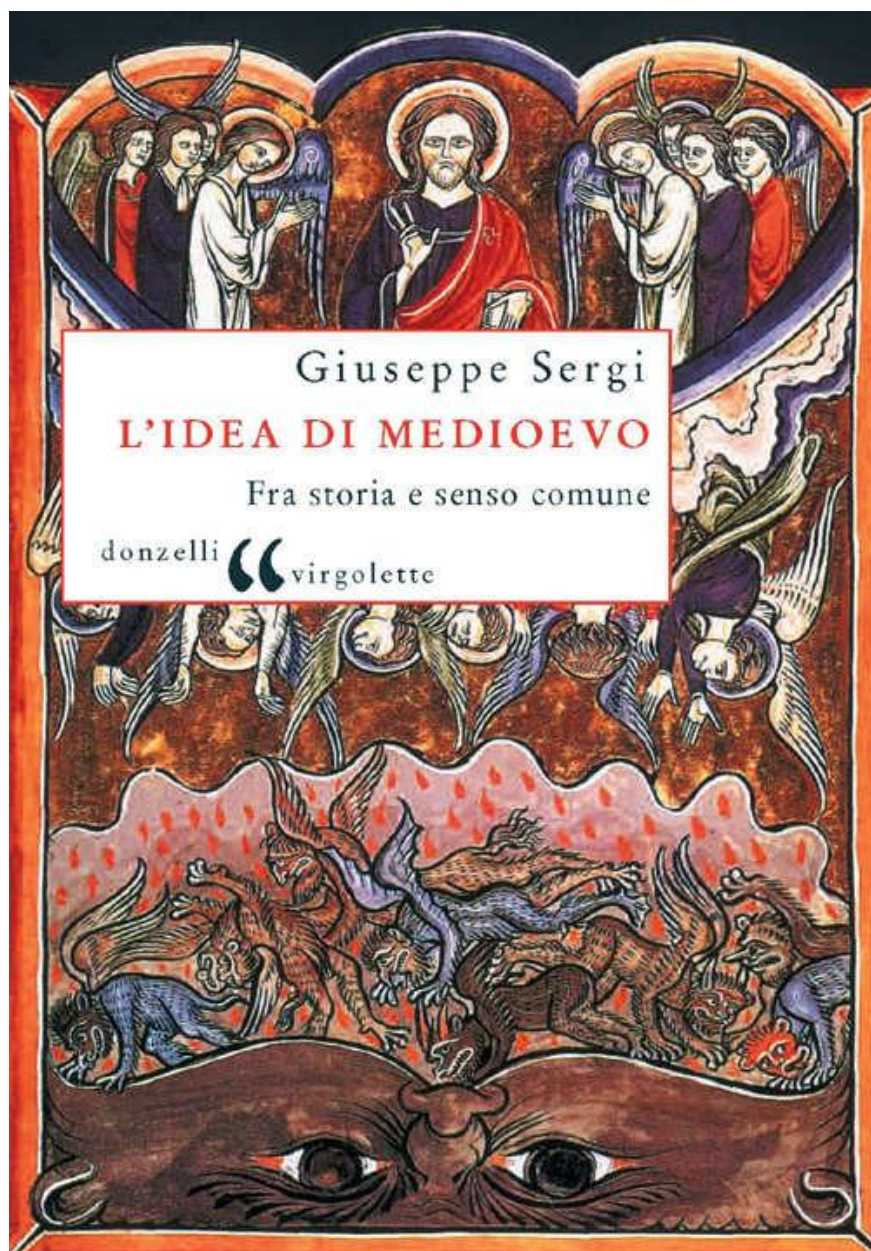


Идея Средневековья

Джузеппе Серджи



Джузеппе Серджи

ИДЕЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Между историей и здравым смыслом

Расширенное издание с новым введением

DONZELLI EDITORE

© 1998, 2005 Donzelli editore, Рим

Via Mentana 2b

ИНТЕРНЕТ www.donzelli.it

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА editore@donzelli.it

ISBN 978-88-6843-264-5

Презентация

Введение в новое издание

I. Проблема

II. Средневековье: определение и хронологические рамки

III. Формирование и развитие историографического концепта

IV. Века, не только германские и не только римские

V. Уравнение «средневековье = феодализм»

VI. Средневековье как детство Европы

VII. Века предполагаемой «закрытой» и «естественной» экономики

VIII. «Христианское» средневековье

IX. Коммунальное средневековье между мифом и реальностью

X. Мрачный образ средневековья, которое заканчивается

XI. Эпоха экспериментов

Основная библиография

Предисловие

Эта брошюра имеет небольшую историю, о которой стоит упомянуть. Она зародилась как вступительная статья к «Учебнику средневековой истории», предназначенному для университетского обучения и недавно опубликованному нашим издательством. Издатель заказал ее автору, порекомендовав ему сосредоточиться на разборе концепции «средневековья». Каждый клише – а средневековье, по причинам, которые здесь подробно рассматриваются, было одной из самых плодотворных фабрик клише – имеет свои истоки, свои мотивы, свои послания «истины»; ни содержание мистификации и натяжек, характерное для каждого из рассматриваемых стереотипов, не может быть устранено и окончательно уничтожено только по той причине, что были указаны его причины и истоки.

Средневековье является важной частью нашей истории, в том числе и в этом конкретном смысле: оно было и остается источником представлений, воспоминаний, образов. Напротив воображаемого средневековья стоит реальность исторических исследований; самых современных и сложных, самых филологически обоснованных и методологически острых. Объединить два типа образов, избежать шизофрении, воссоздать, по крайней мере, в тенденции и в исследованиях единство объекта: такова была задача — сама по себе неоспоримо сложная — которую поставил перед собой автор. Он справился с ней настолько хорошо (по крайней мере, с нашей точки зрения), что заслужил повторное издание эссе в отдельном томе: как приглашение прочитать весь том, из которого оно взято; как место для размышлений об истории и , идеях. Издатель так и решил, и автор дался убедить, не без сопротивления.

Читатели будут ему благодарны.

Рим, сентябрь 1998 г.

Издатель

Введение к новому изданию

Альберт Эйнштейн утверждал, что «разрушить предрассудки труднее, чем разрушить атомы». Поэтому, если в телепрограмме, газетной статье или учебнике объясняется, что все средневековые полномочия передавались посредством феодальной инвеституры или что в декабре 999 года в домах крестьян царил страх перед годом 1000, никто не удивляется: ведь профессиональные исследования опровергли эти убеждения почти столетие назад.

В частности, современная культура продолжает использовать средневековье как сборник клише. Было бы неправильно и самонадеянно приписывать эти заблуждения только невежеству, а составление списка историографических мифов, которые из этого вытекают, заняло бы слишком много времени. Возможно, более полезно рассмотреть, благодаря каким категориям (политическим, культурным в узком смысле, эвакуационным) основные мифы о средневековой истории выжили, несмотря на опровержения исследований: таким образом, уделяя внимание психологии читателя или, в более общем плане, того, кто обращается к прошлому, можно в некотором смысле попытаться набросать «перцептивную историографию».

Первая категория — это *простота*, понимаемая как простота коммуникации и, в частности, как схематичное представление исторического содержания.

В Италии простым и эффективным с точки зрения популяризации является предполагаемая полностью феодальная передача полномочий. Эта теза долгое время пользовалась успехом у наиболее традиционалистски настроенных историков права, для которых только государство могло решать о своей собственной организации: поэтому средневековая местная власть – «синьория банно» по определению Жоржа Дюби – в основном понимается как «феод», возникший в результате делегирования полномочий королями или их временной неадаптивности.

В Германии, где историческая культура (и не только средневековая) более современна в феодальной тематике, потребность в простоте заключается в том, чтобы считать само собой разумеющимся совпадение границ владения землей и границ местного сеньората: как будто сеньоры были не чем иным, как латифундистами, которые также обладали политической властью над своими крестьянами, и как будто только координирующая сила территориальных князей придавала минимальную территориальную рациональность всему целому.

В Англии, очевидно, большое значение имел литературный успех романтического средневековья Уолтера Скотта, который, кроме того, отражал соответствующие отношения между королем и баронами – именно потому, что они были спроектированы и построены в пирамидальной форме норманнскими завоевателями в XI веке – в общем представлении о феодализме: но даже эта простая уверенность начинает давать трещины, и в последние годы Сьюзан Рейнольдс начинает ставить под сомнение феодальный характер распределения власти в английском королевстве.

Постоянная эффективность образа компактной *куртисы*, связанной с идеей «естественной» и закрытой экономики, противопоставленной торговой революции, рынкам и валюте, также объясняется ее простотой и схематичностью. В основе *куртиса*, изображенного двумя концентрическими кругами, изолированными от внешних рынков, лежат очень старые убеждения так называемых «минималистов», историков экономики, действовавших в XIX и XX веках, чьи тезисы были недавно пересмотрены и оспорены Пьером Тубером. Несомненно, менее просто графически изобразить сложность *куртиса*, соответствующую действительности, с частями, находящимися под прямым управлением, и частями, находящимися под косвенным управлением, расположенными и распределенными по разным деревням: подобное изображение не вписывается в современную культуру, даже когда оно правильно представлено в таком популярном издании, как *Энциклопедический атлас* Итальянского туристического клуба.

Здесь вступает в силу еще один фактор. Идея, дорогая минималистам, что в средневековье экономика основывалась на бартере и не существовало денежного обращения, не только проста: она также удовлетворяет потребность в экзотике, которая типична для категории *дистанцирования*, противопоставляемой психологами противоположной категории *ассимиляции*. Средневековье больше и лучше влияет на современную культуру, если подчеркивать его отдаленность, если оно предстает как сосуд разнообразия. В нашей скромной «перцептивной историографии» мы видим, что студенты и публика привлекаются определенными темами на основе ассимиляции (как протекала повседневная жизнь в прошлом, какие чувства испытывали люди), потому что существует большая потребность не отвлекать внимание от сегодняшнего «я». Но студенты и публика также привлекаются содержанием и ответами, в которых искусственно подчеркивается различие с настоящим на основе очарования дистанцирования. Средневековье в западноевропейской культуре служит для придания экзотического измерения, не удаляясь в пространстве, а возвращаясь во времени. Существует положительная экзотика (даже в самых разных областях, от Грааля

до мифов о жизни общины) и отрицательная: экономика натурального хозяйства или, чтобы привести другой известный пример, *ius primae noctis*, предполагаемое право средневекового сеньора спариваться с женой своего подданного в канун первой брачной ночи.

Ius primae noctis является символом фальсифицированного, ошибочного представления о средневековье; а также символом неэффективности профессиональных исследований и искажений коллективной памяти. Феликс Либрехт в 1864 году и Карл Шмидт в 1884 году взялись развенчать миф об этом предполагаемом праве, приводя строгие аргументы, призывающие не путать частые злоупотребления с нормой. Их аргументы были подхвачены, именно из-за установленной неэффективности справедливых доказательств XIX века, Аланом Буро, который в 1995 году посвятил тому, что французы называют *droit de cuissage*, книгу с радикальным опровержением. Но эти авторитетные работы имеют небольшую эффективность, даже когда, как в случае с Буро, они написаны в увлекательном стиле, в книгах крупных издательств и имеют широкое распространение. Массовая культура по некоторым вопросам не только не воспринимает, но и не хочет слушать: она ведет себя как дети, когда они затыкают уши руками и издадут звуки, чтобы не слышать неприятных слов.

Почему? Потому что не хотят потерять из-за «истории» фрагмент «памяти», который имеет культурную и социальную функцию. В данном случае эта функция заключается в том, чтобы подчеркнуть способность местных сообществ противостоять власти: сообщества возвышают свои традиции народным героизмом и на основе этой гипотезы в XIX веке придумывают карнавальные обряды с важным историческим содержанием (конечно, искаженным). Постоянная эффективность таких реконструкций в наши дни, очевидно, гарантируется индустрией туризма.

Если здесь мы находимся в области почти сознательных искажений, то следует признать, что специфическое изобретение *ius primae noctis* также сопровождается спонтанным механизмом « » (понимание через знание). Этот механизм состоит в своего рода «концептуальной паретимологии»: некоторые юристы и интеллектуалы XVI века обнаруживают в сельской местности денежный платеж, *formariage* («*foris maritagium*»), за вопросы, касающиеся брака людей, не находящихся в свободном состоянии (в частности, ему должен был подчиняться слуга, намеревавшийся жениться на служанке другого хозяина); ученые не считали, что этот платеж всегда был таким, и предполагали, что он был результатом прогрессивной цивилизации, начиная с древнего и ненавистного платежа натурой, который на самом деле никогда не был задокументирован.

В категорию дистанцирования можно также отнести использование средневековья как далекого и удобного контейнера происхождения, корней, социальных поведений, которые можно отнести к экзотике, не являющейся ни положительной, ни отрицательной: здесь средневековье является «другим миром», который не слишком обязывает ученого — обычно не медиевиста — который нуждается в формализации, пусть и в общих чертах, «до» далекого от его конкретных исследований. И, между прочим, можно заметить, что средневековье немедиевистов (то, которое вызывают в воображении модернисты, социологи, антропологи, литераторы) имеет большой успех у широкой публики именно потому, что соответствует общей культуре и тому, чего ожидает эта широкая публика. Это касается этнического происхождения наций, которое в таком представлении нравится не только обычному читателю, но и различным социальным ученым, несмотря на опровержения специалистов, в частности Вальтера Поля.

Уже упомянутая ошибка юристов XVI века, ошибки многих ученых старого режима по другим вопросам, использование средневековья современными социологами – которые, по сути, всегда являются специалистами по современной истории – в основном возникают из-за *искажения перспективы*, в значительной степени спонтанного для тех, кто не является специалистом. Это искажение типично для человеческого познания в отношении с историей: мы лучше видим и понимаем то, что ближе, то есть более свежо, и интерпретируем то, что произошло ранее, в свете его результатов. Короче говоря, наш ум ведет себя так, как будто наши глаза, глядя назад, в прошлое, видят ближайшие к нам времена большими и подробными, а более далекие – маленькими и размытыми: поэтому «до» можно восстановить поверхностно, путем ассимиляции или контраста.

Деформация перспективы хорошо ощутима в истории средневековых замков. Трудно убедить студентов и собеседников, что типичные средневековые замки — это не так называемые «резиденциальные» замки позднего средневековья, и это трудно, потому что в основном сохранились замки XIV-XV веков, которые можно посетить во время наших школьных экскурсий и экскурсий наших студентов. Всегда трудно отбросить образ этого «типичного» замка и заменить его образом укрепленной деревни или деревянных и каменных ограждений.

Еще более очевидным и еще менее известным является случай с историей семьи. Специалисты, такие как Дэвид Херлихи и Кристиан Клапиш, объяснили нам, что типичная сельская семья средневековья была «семьей двух поколений», состоящей только из отцов и детей, то есть ядерной, как и сегодня. Однако почти никто, даже образованные люди, не представляют себе этого: потому что сельские семьи после промышленной революции были патриархальными, потому что в XIX и начале XX веков существовали очень большие совместные проживания, и – именно потому, что эта модель противоречит современным тенденциям – естественно считать расширенную семью пережитком, пережитком обычаев старого режима и средневековья.

В этой и других искажениях перспективы действует идея линейного и постоянного прогресса истории: идея, столь же инстинктивная, сколь и политически инструментализированная, в любом случае фальсифицирующая и вредная для социального использования истории, идея, которую углубленное знание средневековья позволяет исправить. Возможно, что в этих исправлениях медиэвисты до сих пор не приложили достаточно энергии. И это неудивительно, если подумать о биографии многих из них: правда, что почти все они, проводя исследования на местах, приходят к тем исправлениям мифов общего смысла, о которых мы говорим; но также верно, что многих из них средневековье привлекло в школьные годы именно потому, что они были очарованы этими мифами; и поэтому их стремление к исправлению может в какой-то мере сдерживаться культурно благожелательным отношением к «очаровательной ошибке».

Что касается использования тех же мифов людьми, не являющимися медиэвистами, можно сделать вывод, выделив две основные причины: первая заключается в том, что естественно, что в отношении вещей, которые не изучаются напрямую, обращаются к более устоявшейся культуре; вторая причина кроется в большей схематичности традиционных решений, благодаря которой более удобно использовать средневековье в качестве эвристического средства. Очевидно, что не от всех можно требовать такого равновесия, какое продемонстрировала модернистка Рената Аго, которая в своей книге «*Феодализм в современную эпоху*» рассматривает «феодализмы» во множественном числе, отстаивая право на определение со стороны социальных систем, предшествовавших Французской революции, но не искажая реальность первоначальных средневековых отношений между

вассалами и бенефициарами: здесь миф ускользает, потому что у Аго мы сталкиваемся с солидной диахронической и вертикальной специализацией именно в области феодализма.

Категоризации и примеры, упомянутые до сих пор и затем развитые на следующих страницах, подтверждают, что восприятие средневековья в общественном сознании возникает не из историографической практики специалистов, а из опыта, не связанного со средневековьем, из педагогики и журналистики. Таким образом, существует историческая культура, которая не характеризуется своевременным восприятием научных достижений, а соответствует накопленному запасу знаний, часто далеким от подтверждаемой реальности средневековья. Я считаю, что историки должны взять на себя ответственность в своих исследованиях за четкое сообщение как о новостях своих исследований, так и о том, что в результате этого должно быть изменено в этом запасе знаний. На следующих страницах, без претензии на систематичность, я хочу выразить призыв в этом направлении и представить обзор знаний, которые могут оказаться удивительными, даже если они уже устоялись.

Турин, март 2005 г.

Г. С.

В этом новом издании были внесены различные изменения, хотя и ограниченные, предложенные ценными советами коллег и ходом исследования.

Идея средневековья

I. Проблема

iTalia

«Средневековье» — это хронологическая конвенция, которая укоренилась в общей культуре современности и современной эпохи. Она берет свое начало в размышлениях гуманистов, живших в XV и XVI веках, которых вдохновляла надежда на новую эру культурного возрождения и всеобщего подъема.

Склонность этих интеллектуалов к «мрачному» изображению всего средневековья (от падения Римской империи до, по крайней мере, XIV века) понятна, если вспомнить о тяжелых временах, которые они только что пережили. Человеческий разум спонтанно представляет себе предыдущие века похожими на недавнее прошлое, но это не обязательно так: часто более далекое прошлое было лучше недавнего, или, по крайней мере, другим. Негативная репутация средневековья во многом зависит от этой деформации и от «кризиса» XIV века: для гуманистов было произвольным, как и сегодня произвольным, представлять VIII-XIII века полностью похожими на апокалиптический сценарий, обусловленный чумой и голодом XIV века.

Чуть позже мы углубимся в происхождение терминологии, относящейся к «средневековью», и в то, как концепция средневековья развивалась с момента своего зарождения до сегодняшнего дня. Но начать нужно с современного представления о средневековье, в частности с «общепринятого представления о средневековье», которое можно найти в массовой культуре, как в высокой культуре учебников и научно-популярной литературы, так и в низкой культуре журналистики и разговорного языка. Уже упомянутое искажение

перспективы в отношении к прошлому сильно влияет на формирование этого клише. Представляя себе прошлое как *непрерывный процесс* без поворотов, массовая культура делает средневековые источники и местом происхождения форм социальной жизни, наиболее чуждых современности. Если, например, в конце средневековья и в начале нового времени питание крестьян состояло в основном из зерновых супов, то его представляют таким же и в раннем средневековье, хотя в то время на столах в деревнях было гораздо больше мяса. И мы уже видели, что если с промышленной революцией проложила себе дорогу модель расширенной и патриархальной семьи, то ее истоки, как представляется, лежат в средневековье, тогда как на самом деле преобладала нуклеарная, или супружеская, семья, гораздо более похожая на современную.

Ярким примером такого искажения прошлого является сегодня широко используемое понятие «феодализм». Абстрактный термин «феодализм» является неоднозначным, он не принадлежит средневековому лексикону и был придуман только в эпоху Нового времени. В XVIII веке революционные буржуа пренебрежительно называли феодализм «средневековым пережитком». С их точки зрения, не имело значения, что феодализм, который они наблюдали, не был «классическим» (вассально-бенефициарный), наиболее типичный для средневековья (без пирамидальной иерархии, без делегирования власти, связанного с инвеститурой), а был результатом дальнейшего развития, не связанного с распадом Каролингской империи, а скорее с новой Европой национальных государств. Люди Просвещения судили, именно, с точки зрения перспективы: они критиковали социальную модель, наблюдая за ней в «версии», которую они лично пережили, проецировали назад конечную точку процесса, предполагая, что она идентична начальной. Неудивительно, что эта перспектива использовалась и впоследствии, вплоть до наших дней, в последовательности инстинктивных вопросов и ответов: «Что такое феодальная система? Та, которая была свергнута Французской революцией. А каким было тогда свергнутое феодальное общество? Средневековым пережитком. А какова была тогда особенность средневековья? Она породила феодальную организацию власти; а как выглядела эта феодальная организация власти? Подобно феодальной системе, которая еще существовала в XVIII веке». С помощью этого кругового и тавтологического рассуждения история становится статичной, стираются VIII-XII века, наиболее типичные для феодальных институтов, и, что еще более важно, придумывается первоначальный феодализм, глубоко отличающийся от того, каким он был на самом деле.

Можно возразить, что средневековая история не имеет исключительного права на феодальную терминологию. Однако средневековье — это период, который знаменует собой появление слова и понятия «феод»: и неверно, что именно это первоначальное средневековое значение представляется в школах и в современной культуре в очень отличном от реальности виде. Неверно, что первоначальное значение загрязнено (и, следовательно, существенно скрыто) последующими значениями. Неправильно применять к средневековью категории, подходящие для последующих веков. Предложение по этому поводу великого ученика Марка Блоха, Робера Бутруша, ясно и категорично: «Мы упорно придерживаемся мнения, что без вассального договора, без феода, без социальной и политической организации, основанной на частных связях особого характера, феодального режима не существует. Необходимо избавить его от обволакивающего его претенциозного языка [...] и, вернув его в его среду, взглянуть на него глазами его современников».

Однако это предложение по-прежнему принимается только специалистами, поскольку, как сказано во Введении, наша массовая культура демонстрирует, что ей не нужно средневековье таким, каким оно было на самом деле, а нужно вымышленное средневековье:

то, которое сформировалось на протяжении веков в коллективном сознании. В наши дни средневековье функционирует как «иное место» (негативное или позитивное) или как «предпосылка». В негативном «где-то еще» есть бедность, голод, эпидемии, политическая нестабильность, угнетение крестьян помещиками, суеверия народа и коррупция духовенства. В позитивном «где-то еще» есть турниры, придворная жизнь, эльфы и феи, верные рыцари и великодушные принцы. Но также спорным является использование средневековья в качестве общей предпосылки (различия или подготовки) для веков, последовавших за XV веком, и таких аспектов, как капитализм, современное государство, подъем буржуазии, новые формы объединений: тем не менее, эта практика по-прежнему широко распространена, в том числе в школе, где она продолжает функционировать как совокупность поверхностно подчеркнутых предполагаемых характеристик, чтобы лучше проиллюстрировать то, что происходит после.

К инструментализации средневековья как «предпосылки» следует отнести и обращение к досовременным векам для поиска «корней», то есть этапа формирования национальной, региональной и местной идентичности. В полемике с универсализмом XVIII века и интернационализмом XX века (преследуемым как в развитом капитализме, так и в так называемом реальном социализме), большие и малые национализмы, соответствующие устоявшимся культурам или заново изобретенные для политических претензий, находят в «воображаемом» средневековье (раздробленном и запутанном, уже не римском и еще не вписанном в рамки великих современных государств) идеальное пространство для размещения особых традиций, мифических истоков, зачатков этнической, национальной или даже просто региональной идентичности. К этим аспектам мы вернемся позже, когда будем рассматривать тему европейских истоков.

Мы должны констатировать, что средневековье в современной культуре мало зависит от исследований историков, а отвечает настойчивым потребностям коллективной психологии, подтверждаемым и подпитываемым средствами массовой информации (вспомним заголовки газет, в которых «средневековыми» называют отсталые формы поведения, «средневековыми» магические практики, «средневековыми» самые крайние формы угнетения, но также и рыцарское поведение). Это средневековье, по сути, XIII-XIV веков (то есть «завершающее» средневековье), мрачное или блестящее в зависимости от идеологической ориентации того, кто его вызывает, театр мифических героев, амбициозных династий и угнетенных народов. Исторические исследования XX века с трудом подрывают представления, сформировавшиеся на протяжении веков и сопровождавшие шаг за шагом формирование самой идеи средневековья.

II. Средневековье: определение и хронологические границы

После середины XV века интеллектуалы из разных культурных сфер начали использовать определения «*media aetas*», «*media tempora*», «*media tempestas*»; в XVII веке появились термины «*medium aevum*» и «*middle age*». Затем популярность прилагательного («*medioevale*» или, более распространенного сегодня, «*medievale*») определила успех определения, от которого оно произошло: «*medio evo*», постепенно преобладающего над «*età di mezzo*», которое вначале использовалось чаще. В 1550 году историк искусства Вазари начал использовать более привычную трехчастную периодизацию (древность, средневековье, современность). До него уже утвердилось понятие своего рода среднего века: определения не всегда были ясными, но термин «средневековье» уже использовался несколько раз.

Литераторы итальянского гуманизма в XIV-XV веках, благодаря переоткрытию и изучению классиков, сформировали представление о промежутке в несколько столетий между культурой древних и культурой (гордящейся своей связью с традициями древних) своего времени. Первым историком средневековья был гуманист Флавий Биондо. В форме летописи (то есть излагая события в строгой хронологической последовательности) Биондо Флавио рассказал о исторических событиях западного мира с 412 года до своих лет, то есть до 40-х годов XV века: автор никогда не называл этот длительный период «средневековьем», но можно констатировать, что рассматриваемый период совпадал с средневековым тысячелетием в более общепринятом понимании.

«Периодизация» — это культурная операция, направленная на упорядочение понимания истории: история делится на более или менее длительные «периоды», которые можно вспомнить достаточно однородно, поскольку коллективная память людей не позволяет проникнуть в магму прошлого, выделяя отдельные моменты. Периодизация, которая дала начало европейской идее средневековья, настолько обусловлена негативностью своей конечной части, что, чтобы выделить длительный период, полностью негативный, было решено найти и «темное» начало: V век, падение Римской империи, кризис перестройки, который переживала тогда Европа, больше не вписывающаяся в рамки крупного государственного господства и еще не готовая функционировать на основе локализма, этнической интеграции и новых форм организации.

Сегодня историки не оспаривают целесообразность дальнейшего использования понятия «средневековье», которое слишком широко распространено в общем употреблении, чтобы его можно было отменить. Но они напоминают нам всем, что так называемое средневековье длилось целых тысячу лет (огромный период времени) и что невозможно, чтобы все тысяча лет были одинаковыми. Вместо этого мы можем выделить некоторую последовательность в пяти-шести центральных веках средневековья (около 1000 года, от экспансии франков до развития коммун), которые можно рассматривать как детство современной Европы, ее многоэтнической культуры (в основном латино-германской), ее форм сосуществования, ее функционирования.

Хронологические границы средневековья, наиболее распространенные в учебниках, — это 476 год (свержение Романа Августола, официально последнего императора Западной Римской империи) и 1492 год (открытие Америки Христофором Колумбом). Некоторую популярность — возможно, больше за пределами Италии, чем в нашей стране — приобрели другие недалекие даты, такие как 410 год (разграбление Рима вестготами) и 1453 год (завоевание Константинополя турецкими мусульманами). Другие даты начала Ренессанса присутствуют в конкретных национальных исторических культурах: 1485 год, приход к власти династии Тюдоров в Англии; 1494 год, начало великих завоеваний Карла VIII во Франции; 1517-19 годы, восстание Лютера и избрание Карла V в Германии. Во всех случаях средневековым обычно считается период с V по XV век. Если же рассмотреть области исследований профессиональных историков, то можно заметить, что V и VI века анализируются экспертами по так называемой «поздней античности», а XV век является предметом исследования «модернистов». Таким образом, «медиевисты» в основном изучают VII-XIV века.

Внутренняя периодизация средневекового тысячелетия варьируется от культуры к культуре: в Италии различают «высокое средневековье» (с V века до 1000 года) и «низкое средневековье» (с 1000 года до XV века), и это деление получило определенный успех благодаря распространению итальянской культуры в прошлые века. Однако в англоязычных странах часто используется термин «high Middle Ages» для обозначения «развета»

средневековья, XII и XIII веков. Немецкая периодизация отличается от других: «Frühmittelalter» (раннее средневековье) обозначает V-VIII века; «Hochmittelalter» (высокое средневековье) — века около 1000 года; «Spätmittelalter» (позднее средневековье) — XII-XV века. Это разделение на три части хорошо соответствует реальности исследований и социальным, политическим и экономическим моделям, которые можно очертить и идентифицировать: не случайно и в Италии в современной исторической культуре говорят о «центральных веках средневековья» (IX-XII), которые считаются наиболее характерными, хорошо отличающимися от классических обществ и обществ старого режима.

III. Формирование и развитие историографического концепта

Концепция средневековья с момента ее формулирования сразу же приобрела негативную коннотацию. Даже на политическом уровне Италия времен Лоренцо Великолепного преследовала идеалы равновесия и рационализации, и ее интеллектуалы могли ссылаться на миф о Древнем Риме (если их вдохновляли мечты о великом объединении) или на миф о греческой *полисе* (если они были привержены идее гражданской автономии). Можно отметить, что оба эти мифа были мифами классического мира, далекими от спонтанного воинства германцев («варваров») и последующего «беспорядка», родившегося из этнического столкновения латинян и германцев, которому гуманизм и Возрождение не придавали никакого положительного значения. На культурном уровне наблюдалось безразличие и презрение к оригинальным проявлениям средневековья, которое, таким образом, обвинялось не в том, что оно ничего не произвело, а в том, что оно позволило себе что-то произвести. Раннее Новое время ценило Отцов Церкви, но только потому, что считало их культурными переработчиками классического наследия; оно ценило также трудолюбивых и анонимных монахов-переписчиков, потому что они обеспечили передачу древних авторов, не претендуя на переработку. Зато он не ценил наиболее типичных средневековых писателей, таких как летописцы и агиографы, потому что не замечал их живости и строго подчеркивал их грубые формы выражения.

В последующие века судьба средневековья была переменчивой. В XVII и XVIII веках можно найти положительные, но сдержанные переосмысления среди интеллектуалов, которые испытывали спонтанное любопытство к прошлому, таких как Жан Мабийон и, прежде всего, Луи де Томассин и Лудовико Антонио Муратори. Снова радикально негативная оценка появилась в эпоху Просвещения, которое заложило основы нашей сегодняшней культуры, приписывая средневековью все уродства, предшествовавшие Французской революции, все обычаи, противоречащие идеалам разума, свободы и равенства: не обращалось особого внимания на то, что многие из этих обычаев и несправедливостей утвердились в XVII или в начале XVIII века.

Девятнадцатый век Реставрации, Романтизма, открытия национальных идентичностей был, напротив, занят положительным переосмыслением тех же аспектов, которые осуждал Просвещение: в суевериях ценились магические и сказочные моменты, в раздробленности искали корни национальных цивилизаций, подлинных или вымышленных. В частности, осознание немецким народом себя и своего прошлого – в поисках собственной политической единства – придало национально-романтический поворот исследованиям средневековой истории. Из этой спорной причины родились инициативы неоспоримого и долговечного качества: началась деятельность таких исследовательских институтов, как Monumenta Germaniae Historica; серьезные ученые, такие как Савиньи, Вайтц, Хартманн и

Лампрехт, объединили историографические школы по истории права, институтов, экономики и цивилизации.

Немцы прошлого века начали заниматься средневековьем с сильной идеологической нагрузкой: в прошлом Европы они выбрали наиболее «германский» период, освободив его особенности от опеки латинской культуры, которая – с мифом о классиках или римском праве – до тех пор покрывала и в некотором смысле скрывала наиболее оригинальные проявления средневекового тысячелетия. Позитивистские методы в оригинальном сочетании исправили романтические требования и помешали в Германии развитию фантазийных реконструкций, подобных тем, которые интерпретировал во Франции Жюль Мишле. Иллюстрируя вклад германских народов в формирование современной Европы, большая часть немецкой медиевистики начала стремиться к строгой реконструкции прошлого на основе документов. Это не означает, что подход был нейтральным: ученые, участвовавшие в политической и идеологической атмосфере Германии конца XIX века, рассматривали немецкое средневековье как историю постепенного разложения, вызванного контактами германцев с народами Средиземноморья. Главную роль играла своего рода «первоначальная доброта» немецкого народа, со временем утратившаяся: Европа была бы лучше, если бы германцы не были вынуждены мириться с цивилизацией, слишком отличавшейся от их собственной.

Этой атмосфере следует приписать теорию *Markgenossenschaft*, германской общинной деревни: считалось, что германские деревни до встречи с римлянами были организованы по принципу своего рода первобытного коммунизма, что подтверждалось информацией Тацита и несколькими другими свидетельствами. Такой историк, как Маурер, хотя и принадлежавший к правой политической партии, не колебался в прославлении этого первобытного коммунизма, считая его проявлением способности к эгалитаризму, порожденной превосходством германской цивилизации над цивилизациями Средиземноморья.

Теория первобытного коммунизма германцев и его средневековых остатков имела большой успех в XIX веке и повлияла на Маркса и Энгельса, которые были культурно заинтересованы в интерпретации средневековья как великого театра докапиталистических экономических форм. Для двух теоретиков социализма было естественным использовать средневековые исследования своих лет без предварительного критического анализа идеологической ориентации их авторов: таким образом, германский коммунизм первобытных времен, результат теории, пытавшейся доказать превосходство одной расы, вошел в работы, которые, напротив, были направлены на оценку всех уравнилельных тенденций, проявившихся до утверждения капитализма. Римский мир, несмотря на свое поражение, оказал глубокое влияние на эгалитарный дух первых германцев, соблазнив их идеей землевладения. Различные германские народы, привыкшие делить добычу, в контакте с римским миром начали предусматривать более крупные доли для вождей племен: и, поскольку новые войны были не грабежными, а перемещающими, добыча состояла в основном из земель, и неравное занятие земли определило вхождение латифундий в германскую цивилизацию.

Недоказуемость большей части этих постулатов сегодня очевидна для всех, но для многих немецких ученых прошлого века введение латифундий ознаменовало начало коррупции первоначального духа германства. С другой стороны, нельзя отрицать некоторые положительные последствия этой тенденции к переоткрытию немецких корней: в историю вошли темы этно-антропологического характера, в то время как изучение прошлого отказалось от некоторых универсалистских и обобщающих амбиций в пользу национальных

перспектив, которые, если не судить об них с идеологической точки зрения, были наиболее подходящими для тщательного анализа и предвещали качество «региональной» истории нашего века. Примером этого является расцвет исследований методов земледелия, связанных с различными культурами – кельтской, славянской, германской – понимаемыми как «цивилизации», а значит, также как традиции повседневной жизни, труда, сосуществования людей: этот тип исследований нашел свое воплощение в работе Мейцена и его классификации типичных для каждого народа форм полей.

Идея о том, что каждый элемент человеческой истории может иметь различные проявления в зависимости от сферы цивилизации, в которой он реализуется, является большим вкладом, который немецкая медиевистика конца XIX века внесла в развитие историографии. Лампрехт и *Kulturgeschichte* во многих отношениях предвосхитили очень успешный опыт французского журнала «*Annales*», и многие темы уже тогда были рассмотрены с подходом, который не вызвал бы недовольства Марка Блока.

Ранее мы видели, как историография XIX века настаивала на немецком потенциале, сдерживаемом латино-германским столкновением; однако та же историография также занималась поиском «победных» элементов культуры, которая построила бы Европу. Выводы просты: Европа формируется постепенно в средневековье, средневековье является по сути германским, следовательно, Европа является германским построением. Это реакция немецкого XIX века на латинские культуры: итальянскую (с широкой международной поддержкой), согласно которой все хорошее, что было в средневековье, было связано с трудом выживания элементов римской классики; французскую, которая, кроме того, националистически присвоила миф о Карле Великом, почти поставив в скобки неоспоримую германскую этническую принадлежность франков. Кроме того, несколько лет назад проект «европейского» учебника истории застрял на определении Карла Великого во французском или немецком понимании; и даже сегодня в итальянских школах отношения между франками и лангобардами представляются как история «французского» вторжения, тогда как на самом деле итальянская земля была ареной великого межгерманского столкновения, в котором преобладало народ, более склонный к этнической интеграции и федеративным объединениям, несмотря на более высокий уровень примитивизма: *lex Salica* франков содержала нормы (о положении женщин, о соотношении преступления и наказания), которые были гораздо более отсталыми по сравнению с лангобардским законодательством.

В XIX веке лучшая европейская медиевистика характеризовалась явной биполярностью. Георг Вайтц, выдающийся немецкий исследователь институтов, представлял Европу, которая на основе элементов германской культуры сформировала новые формы сосуществования: все полезное из римского прошлого было сохранено и интерпретировано германским правящим классом. Француз Фюстель де Куланж, напротив, по-другому оценивал встречу германской и латинской цивилизаций: корни современной Европы были в основном римскими, состоящими из элементов, которые нашли в Галлии, месте встречи франков и римской senatorской аристократии (а значит, во Франции), большую лабораторию для переосмысления себя и предложения себя будущему.

Таким образом, культура XX века унаследовала от историографии XIX века представление о средневековье, возможно, более сложное, но столь же негативное, как и то, которое было разработано гуманистами- , оставив только некоторым представителям правой идеологической фракции возможность восхвалять в значительной степени «вымышленное» средневековье. Среди ученых дело обстояло иначе. Историки литературы и искусства сделали много важных открытий. Историки избавили эту область от многих клише. Но, прежде всего, среди историков теперь жива идея, что «средневековье» — это чисто условное

деление на периоды. Если еще в середине XX века Джорджо Фалько и Раффаэлло Морген исследовали смысл средневекового тысячелетия и пытались дать ему четкое определение, соотнося его с всеобъемлющей идеей «христианского общества», то сегодня это уже не так: есть те, кто считает, что древний мир просуществовал до X века (Ги Буа), те, кто теоретизирует о «длинном средневековье» вплоть до промышленной революции (Жак Ле Гофф), и даже те, кто, изучая средневековье на практике, предлагает никогда не использовать прилагательное «средневековый» (Массимо Монтанари).

В последующие годы и на протяжении большей части нашего века римская и германская интерпретации средневековья продолжали противостоять друг другу: но теперь, в анализе такого великого медиевиста, как Джованни Табакко, и в преобладающей ориентации научного сообщества, уделяется внимание равноправию латинско-германского взаимодействия и, прежде всего, ценятся оригинальные продукты цивилизации, возникшие в результате этого взаимодействия, без задержек в оценках преобладания. Становится все более очевидным, что сближение преобразило две цивилизации, которые способствовали его формированию, создав синтез, который в мировой истории имеет очень мало аналогов.

IV. Века, не только германские и не только римские

Таким образом, первые века средневековья не были ни чистыми передатчиками ценностей классической античности, ни инертными полями утверждения новых ценностей германских народов, а были почвой для интеграции различных традиций.

Наиболее полная интеграция была осуществлена франками: их интеграция достигла большей полноты по сравнению с частичными и сдержанными этническими встречами, осуществленными другими народами в других регионах. Так не было, например, в случае с предыдущим опытом готов Теодориха в Италии, потому что в армии должны были служить только германцы, а римляне должны были ограничивать применение своих навыков в области администрации и культуры: это была несовершенная гармония, лишенная конструктивного импульса, который могла обеспечить только полная интеграция. После прибытия франков в южную Галлию начали заключаться смешанные браки между галло-римской и германской аристократией, но, прежде всего, произошло сближение образа жизни двух сред. Галло-римская аристократия могла без ограничений направлять своих детей на военную карьеру, перенимая из германской традиции модели социального превосходства, основанные прежде всего на престиже оружия, доблести в бою и способности к военному командованию. Германская аристократия, в свою очередь, была вынуждена направлять некоторых своих детей на церковную карьеру, поскольку осознавала огромный престиж и эффективное политическое и социальное влияние епископов этих регионов. Эта успешная интеграция объясняет, почему Европа была франкским созиданием: на этой основе Каролингская империя действительно стала великим достижением, оригинальным в плане сохранения сильных германских черт и параллельного институционального вдохновения римско-византийской традицией.

Все германские народы, постепенно проникая в различные регионы южной Европы, столкнулись с ситуациями, в значительной степени новыми по сравнению с их привычками. Сначала их деревни были временными центрами сельскохозяйственной эксплуатации и убежищами после грабежей. Впоследствии, однако, они ввели в свою привычную жизнь латифундии и города: латифундии, основа непрерывности галло-римских сенаторских семей, все больше рассматривались, в частности, франками как неотъемлемый элемент в

процессе укрепления аристократических семей; города с их епископами и гражданскими должностями навязывали новым правителям наследие общественных традиций, которое те частично адаптировали к своим потребностям. Кроме того, представители крупнейших галло-римских семей были представлены при дворе в различных королевствах Галлии, которые в то время управлялись королями династии «Меровингов», с должностями, связанными с их культурой и новыми административными потребностями. Сначала при династии Меровингов, а затем, с VIII века, при династии Каролингов, произошло успешное слияние германской культуры, основанной на мобильности, мифе о воинской доблести и традиции командования людьми, с латинской культурой, основанной на религиозно-литературных компонентах, административных навыках, развитии латифундий и традиции власти на территории.

Таким образом, в первые века средневековья сформировался смешанный правящий класс, состав которого варьировался в зависимости от различных областей франкского господства (более латинский в Аквитании, более германский в Австразии, с сильным бургундским компонентом в Бургундии, особенно сбалансированный в Нейстрии), но однородный с точки зрения размывания этнических особенностей: некоторые семьи, являвшиеся результатом смешанных браков, стали давать некоторым из своих детей германские имена, а другим — римские, как бы оставляя своим потомкам все возможности для различных карьер.

Новый средневековый правящий класс с трудом, но успешно сумел придать социальной структуре и институтам гибридный характер: личные связи между людьми германской племенной традиции переплетаются с территориальными концепциями власти. Вожди германцев по традиции знали, над какими людьми (племенами, семьями, отдельными лицами) они осуществляли свою власть, и не заботились о том, чтобы определить, над какими территориями и в каких границах они правили: и все это было очевидно для народа, привыкшего перемещаться, жить за счет добычи и временных поселений. Напротив, римская традиция основывалась на муниципалитетах и провинциях с четким территориальным определением: и эти территориальные концепции преобладали в латино-германском столкновении, потому что они были необходимы для управления новыми политическими образованиями, характеризующимися стабильностью поселений и сосуществованием в одних и тех же регионах различных умиротворенных народов.

Этот гибридный характер – настоящее «государство» римского вдохновения, но с множеством элементов традиционного германского общества – является доминирующей чертой Каролингского королевства. Именно благодаря этому гибриднему характеру, деликатному, но удачному балансу между различными компонентами, институты, сформированные в тот период, оказали значительное влияние на последующие века. Мы говорим «королевство», а не «империя», потому что историки пересмотрели значение 800 года и знаменитой императорской коронации Карла Великого. Эта дата не была датой рождения «империи» как конкретной реальности: императорское достоинство представляется прежде всего данью уважения «личности», которая объединила Европу и силой обратил ее в католичество. Титул императора означал лишь обогащение символическо-религиозных обязанностей неизменного владельца *regnum Francorum*. После приобретения императорского достоинства в функционировании франкского господства не произошло абсолютно никаких изменений. Определение «империя» представляло собой римское наследие, которое каролинги передали последующим векам, но оставалось в основном абстрактным понятием. Франция и Англия всегда оставались вне его. Кроме того, те, кто осуществлял власть над Германией, Италией и Бургундией, делали это как «короли», а не как императоры. Готфрид Отонский в X-XI веках, Фридрих Барбаросса в XII веке и Фридрих

II () осуществляли власть в Италии как носители итальянской короны, а не как чрезмерно ретивые императоры или, что еще хуже, как завоеватели: напротив, именно тому, кто был коронован «королем Италии», полагался также титул *императора*, который, таким образом, был формальным следствием реальной власти над Итальянским королевством.

V. Уравнение «средневековые-феодализм»

Средневековые часто называют «феодальным веком», используя это название как качественный эквивалент хронологического определения. Поэтому для ясности необходимо кратко остановиться на истории понятия феодализма. Революционные составители «Отчета, составленного от имени Комитета по феодальным правам 4 сентября 1789 года» показали, что они хорошо знали, что только права, вытекающие из конкретных феодально-вассальных договоров, были «феодальными правами», но также заявили, что в общем случае «феодальными» правами теперь назывались *банальности* (то, что подданные платили господину за пользование мельницей, за сбор дров в лесу или за отвод воды), права на урожай, *барщину*, феодальные пошлыны (то есть платежи за землю, полученную в управление), услуги, связанные с древним крепостным правом: то есть все, что в действительности зависело от обычая подчинения крестьян местному сеньору или владельцу земель, которые они возделывали. Этот документ является доказательством того, что понятие феодализма охватывало весь аграрный и сеньориальный режим, зародившийся в средневековье и сохранившийся, претерпев постепенные изменения, до современной эпохи.

Создание единого и общего понятия началось еще в XVII и XVIII веках и привело к общему определению феодализма как *état de civilisation* в 1727 году в книге графа де Буленвилье «История древнего правительства Франции». В 1748 году Монтескье (*L'esprit des lois*) определил феодализм как пагубную систему, которая предусматривала различные виды владения – с разными владельцами – над одной и той же вещью или людьми: он сетовал на то, что терялась единство политического управления и возникало «правило, ведущее к анархии, и анархия, ведущая к порядку и гармонии».

На основании этих интерпретаций феодализм представлялся результатом раздробления государственного имущества и государственной власти в пользу военной и земельной аристократии: отдельные члены этой аристократии имели разный вес, но были скоординированы между собой узами подчинения и верности. Однако до сих пор речь шла только о Европе и о могущественных людях. Вольтер же считал феодализм характерной системой любого общества, в котором один народ военным путем подчинял себе другой, навязывая ему свою вооруженную аристократию. Еще раньше Джамбаттиста Вико интерпретировал феодализм как необходимый этап во всех циклах развития цивилизаций и включил в свою систему любые связи зависимости, даже невоенного характера, даже компенсируемые лишь небольшим участком земли для возделывания: короче говоря, из этой концепции феодализма не было исключено ничего, точно так же, как и в той «феодальной пирамиде», которую современные медиевисты с трудом пытаются удалить из популярной литературы и преподавания.

Негативные суждения Адама Смита о больших неотчуждаемых владениях баронов подготовили почву для Карла Маркса, который использовал термин «феодализм» для обозначения типа земельной организации и системы производственных отношений: в целом «этапа», предшествовавшего капитализму. Это одно из наиболее эффективно проникших в

современную культуру марксистских понятий. Идея феодализма переместилась из правовой и военной сферы в экономическую и социальную, и под феодализмом понимается подчинение и политико-экономическая эксплуатация крестьян: не наемных рабочих, вынужденных подчиняться и выполнять различные обязанности в связи с тем, что они были включены в крупное помещичье хозяйство.

Рассеяние государственной власти и авторитарное подчинение крестьян в рамках помещичьей экономики — вот две черты феодализма, переданные нашей культуре из XIX века. Феодализм стал почти синонимом средневековья. Тем не менее, уже тогда различные историки в своих полевых исследованиях понимали, что трудно найти феодальное инвестирование в основе каждого средневекового политического разделения: Фюстель де Куланж, Генрих Бруннер и Жак Флах ограничили феодализм институциональной сферой вассально-бенефициарных отношений.

Однако общему переосмыслению историографии противостояла постоянная удобство обобщающих интерпретаций. Макс Вебер в 1922 году и Генрих Миттейс в 1933 году представили феодализм как этап исторической эволюции, находящийся на полпути между опытом аристократической гегемонии и современным административным государством.

Определенную популярность, особенно за пределами средневековой историографии, приобрела интерпретация Отто Хинце, который в 1929 году предложил рассматривать феодализм как «форму правления» народов, которая сохранялась вплоть до XIX века и заключалась в распространенном партикуляризме — в контексте аграрной экономики и военного клиентелизма — принятом народами, вынужденными внешними обстоятельствами прервать нормальную и постепенную эволюцию от племенных форм к государственным.

Среди историков XX века очевидно различие между теми, кто придерживается диахронического подхода (то есть уделяет приоритетное внимание долгосрочным преобразованиям), и теми, кто специально изучает средневековье. Среди первых Арнольд Тойнби оказал большое влияние на англосаксонские исследования, сформулировав определение феодализма как этапа эволюции (то есть как реакции на упадок, из которого через процесс восстановления готовится и организуется возрождение); среди вторых основополагающее место занимает Марк Блок. Основатель «Annales» четко выделил вассально-феодальные отношения в их собственном смысле, не выводил из этих отношений умножение королевской власти и определил как нефеодальные связи зависимости низших классов в рамках сельских сеньорий. Сделав эти безупречные разграничения, Блок оценил вассально-бенефициарные связи как особенность западного средневековья и поэтому назвал свой обзор центральных веков средневековья «*La société féodale*» (Феодальное общество). Его ученик Бутруш, как мы уже видели, пошел еще дальше: он определил истинную особенность средневекового общества в сеньорских полномочиях, сформировавшихся более или менее спонтанно снизу, а не делегированных феодально сверху; в то время как другой великий медиевист, Франсуа-Луи Ганшоф, бельгийский ученик Пирнена, автор работы, переведенной во всех частях мира и вышедшей в итальянском издании только в 1989 году, углублялся в изучение специфических черт феодально-вассальной системы франкского мира. С небольшими различиями в деталях мы впоследствии находим, присоединившихся к этим позициям, большую часть французских медиевистов, всех немецких медиевистов и, среди современных итальянских историков средневековья, Джованни Табакко и Чинцио Виоланте.

Неспециализированная культура, напротив, продолжала привлекаться экономико-социальной версией, смитской или марксистской, концепции, используемой в не строго

историческом смысле и, конечно, не в средневековом смысле. *Экономическая теория феодальной системы* Витольда Кулы, 1962 г., является примером прекрасной книги, которая черпает свои примеры из польской истории XVII века и которая оказалась чрезвычайно эффективной не только в плане представления хорошо проверенных механизмов эксплуатации земли и людей (), но и в плане включения в концептуальную сферу «феодализма» – в явном противоречии с исследованиями средневековья – любую политическую и феодальную коннотацию латифундии. Есть конкретное объяснение, не зависящее только от марксистского образования автора. К востоку от реки Эльбы, на территориях более поздней немецкой колонизации, долгое время находившихся под властью Тевтонского ордена, в конце средневековья стало систематическим использование сельской рабочей силы, подверженной строгим ограничениям: крестьяне были экономически зависимыми, но также и подданными латифундиста, находясь в состоянии «второй крепостной зависимости», которое продлилось до начала XIX века. Эта поздняя и своеобразная реальность подсказала Куле разработать модель, считавшуюся долговечной, со следующими характеристиками: латифундия как юрисдикционный остров, обязанность крестьян работать на земле господина, ограничения на передвижение крестьян, доходы господ, связанные с осуществлением защиты и власти, а не только с управлением землей. Однако ни одна из этих характеристик не может быть названа «феодальной», если концепция феода сохраняет институциональное значение, которое было присуще ей в те века, когда она зародилась.

Бутруш объяснил в 1960-х годах в своей работе *Seigneurie et féodalité*, что «ученый язык» «склонен определять этим словом любую уступку государственной власти»: он привел примеры «феодализма партий», «профсоюзов», «крупных землевладельцев», подчеркнув, что всегда спонтанно связывают идею феодализма с «раздроблением власти, внутренними беспорядками, развязыванием частных интересов [...], жестокими действиями и угнетающей силой». Примеры Бутруша по-прежнему актуальны, как и его предупреждения. Тем не менее, социологи и историки современного мира продолжают черпать феодальную терминологию и концепции из современной культуры, а не из работ тех, кто профессионально изучает феодализм. Затем они совершают еще одну операцию: поскольку тот магматический комплекс, который называется феодализмом, должен иметь происхождение, и это происхождение не может быть иным, как средневековым, они проецируют этот смутный образ на все средневековье — а значит, на тысячу лет. Любые следы политического, экономического и социального функционирования, которые можно отнести к тому своеобразному коллективному воображению, которое носит название феодализм, интерпретируются как «средневековый пережиток»: даже когда эти следы появились гораздо позже, в эпоху старого режима.

Термин «феодализм» имеет две характеристики, которые объясняют его популярность: лексическую и концептуальную. Победная лексическая особенность заключается в его своеобразии, в некоем временном экзотизме, который делает его совсем отличным от слишком распространенного «господства». Победная концептуальная особенность заключается в его всеобъемлемости: это ярлык с конкретным названием, который можно применить к широкому контейнеру, к неясной совокупности понятий, даже очень разных между собой. Идея феодализма является неотъемлемой частью идеи средневековья.

VI. Средневековье как детство Европы

Помимо последних веков средневекового тысячелетия, в наиболее распространенном представлении о средневековье популярность приобрели периоды, в отношении которых наше знание может прибегнуть к «ассимиляции», то есть к поиску чего-то знакомого или сопоставимого с современными политическими и социальными явлениями: речь идет о периодах, которые содержали органичные попытки создания государства и общества, таких как IX век с Каролингской империей и, для Италии и Германии, переход между X и XI веками с династией «Оттонов». Напротив, «негативные» периоды «беспорядка» не вызывают интереса: так, в раннем средневековье видят только кризис римской модели, в XI–XII веках – чистое распад; и именно эти века Роберт Фосье, развивая идеи, которые уже были у Марка Блока, смело называет «детством Европы» ().

Концепция Европы, зародившаяся на островах Эгейского моря для обозначения материковой Греции, в средневековье становится носителем идей превосходства над всем внешним и позволяет сформировать комплекс образов разнообразия. Два упоминания о Европе, которые мы находим в трудах преподобного Беда в VII веке, свидетельствуют о способности разрабатывать географические понятия, совершенно отличные от политических: и это нормально для раннего средневековья, которое не имело настолько стабильных политико-территориальных структур, чтобы превратить физическую географию в политическую. В следующем веке, VIII веке, монах из Толедо, продолжатель дела Исидора Севильского, представляет армию Карла Мартелла, победившую мусульман в Пуатье, как армию «европейцев»: битва, значение которой было преувеличено – как недавно хорошо показал Бернард Льюис – но преувеличено уже тогда, ее первыми же прославленцами. Однако в случае с монахом из Толедо интересно то, что он не хотел представлять эту битву как победу франков, а как победу всей совокупности цивилизаций, объединенных христианской религией и противостоящих исламской экспансии: через Исидора остатки вестготской культуры стремятся размыть преобладание франков над *societas Christiana*.

Но фактические ситуации, созданные политическим господством, в конечном итоге накладывают отпечаток и на ментальные рамки. Большой успех термина «Европа» пришелся на разгар каролингской эпохи: польский историк Серейский (в работе 1937 года) насчитал целых тридцать упоминаний этого термина в годы правления Карла Великого. *Annales Fuldenses* доводят эту явную связь до крайности, используя термин «Европа» как синоним «господства Карла».

Между тем, в культуре, возродившейся после IX века, в школах городских соборов и монастырских школах сельской местности понятия Европы появляются время от времени, причем не без попыток использовать их в отрыве от великого каролингского господства и скорее в связи с этнико-географическими соображениями. Европа, таким образом, является обширной родиной потомков Иафета (в противоположность местам поселения потомков Сима и Хама); или — как в случае с Видукингом — Европа является синонимом Запада; версия, не отличающаяся от той, которую нам дает, также в X веке, Константин Порфирогенет, который определяет как «Европу» самые западные провинциальные деления (темы) Византийской империи.

Когда мы доходим до тысячелетия назад, между X и XI веками, развиваются процессы, которые придают Европе идентичность, одновременно устраняя любую гипотезу этнической однородности: гипотеза Яфета на самом деле никому не близка. И в конце концов, идея «франкской» Европы тоже не является действительно успешной: ведь как можно было требовать этого от народа франков, сила которого заключалась именно в том, что он

представлял собой федерацию различных германских племен (анзиваров, бруттеров, камавов, каттов), не особо гордящихся своими особенностями, но и наиболее открытых для полной интеграции с латинским миром? Их кодом общения не была этническая гордость, они не хотели утверждать этническое превосходство: они продолжали объединять новые народы – бургундов, алеманов, баварцев, галло-римлян – тем же стилем, которым они ранее объединили себя, как будто сознательно выдвигая свою кандидатуру на координацию рационально воссоздаваемого смешения.

Ключевым моментом было создание сосуществования между ярко выраженными и ранее разнообразными стилями жизни: племенным-военным стилем германского мира и культурным-церковным стилем латинского мира (). Два стиля жизни, два принципа социального превосходства, которые франки не только соединили, но даже продвинули до симбиоза, позволив – как мы видели – галло-римлянам получить доступ к военной карьере, а самим заняться епископской карьерой, которая теперь воспринималась как престижная и социально влиятельная роль: и это немало для народа, который в своем далеком прошлом, как и все германцы, имел упрощенное представление о военной доблести, традиции военного командования и социальном престиже.

Таким образом, пост-каролингская Европа, Европа тысячелетней давности, с ее примерно тридцатью миллионами жителей, является обширной территорией с преобладающей каролингской традицией, но не характеризуется абсолютным господством одного только франкского народа. Преодоление арианства и доминирующая в то время на Западе римская интерпретация христианского опыта привели к наложению идеи *societas Christiana* на западную область латино-германской синтезы. X век, доминируемый второй большой волной германских народов, присутствием венгров, перемещениями славянских народов, безусловно, создает своего рода европейскую солидарность: но интересно отметить – как хорошо видно из хроник Эккехарда из Санкт-Галлена – что захватчики вовсе не воспринимаются культурно как «неевропейцы». Европа укрепляется как географическое понятие, но остается многогранным и гибким; миссии по евангелизации создали условия, при которых европейцем считается тот, кто принимает христианство, независимо от его происхождения, только по той причине, что он таким образом вошел в *societas Christiana*.

В центре старого каролингского господства вырисовываются две большие культурные области: Королевство западных франков, будущая Франция, где латино-германское столкновение произошло с определенным преобладанием латинского языка и культуры, и Королевство восточных франков, то есть Тевтонское королевство, где в том же столкновении преобладают элементы более чисто германского характера. Значимыми являются годы правления германских королей из саксонской династии, то есть Оттонов, поскольку они были особенно активны на Востоке: такие регионы, как Богемия, Польша, Венгрия, сначала были обращены в христианство, а затем присоединены (хотя и с большой автономией) к германской короне, и на востоке образовалась славяно-венгерская полоса, которая тяготела не к Византии, а к христианскому Западу. Это еще один фактор, который способствует тому, что Европа в средние века становится этнически многогранной, но при этом далекой от четких национальных кристаллизаций.

Тысячелетняя европейская культура опиралась на центры пропаганды и распространения идентичности, совпадающие с монастырями и епископальными школами в городах. Эти центры были островками, довольно изолированными от местного контекста, но при этом имеющими прочные связи между собой: они не играли большой роли в определении отдельных культурных зон, в том числе потому, что их оживляли интеллектуалы, клирики и монахи, отличавшиеся большой мобильностью. Сами аристократические семьи, уже

достаточно мобильные из-за военных обязательств и поиска новых возможностей для самореализации, имеют широкие и разнообразные горизонты в связи с религиозными обязательствами: аристократами являются последователи Ромуальда Равеннского, занимавшиеся миссионерской деятельностью в Польше XI века.

В средневековые местные культуры постоянно вступают в противоречие с высокой культурой, стремящейся к научной однородности. Воспоминания о каролингской эпохе служат в основном памятью о единстве, и в некотором смысле сила этой памяти заключается именно в отсутствии единого жизненного центра: потому что это единство не навязывается европейской столицей, а интерпретируется и воспринимается как свое собственное рядом центров распространения. Таким образом, максимальному политическому раздроблению – характерной черте первых веков после 1000 года – соответствует постоянно меняющаяся ситуация с населенными пунктами, этническим преобладанием, различными, но не фрагментированными культурами, поскольку каждая из них связана с единым прошлым, которое продолжает легитимировать власть и облагораживать центры культуры. Короче говоря, нельзя быть легитимной властью, если не ссылаться на каролингские или отонские формы осуществления власти; и нельзя быть культурно авторитетным, если не действовать в некоторой преемственности с *Палатинской школой* Карла Великого или с атмосферой *Renovatio imperii* отонской эпохи.

Крестовые походы выполняют противоречивую функцию в отношении европейской идентичности. Они подчеркивают разнообразие исламского мира: таким образом, они придают сплоченность абстрактной Европе и, прежде всего, подчеркивают идею границы, за которой Европа больше не существует. В то же время они способствуют более широкому распространению представлений о Европе, которые, погрузившись в это разнообразие, возвращаются укрепленными.

Здесь возникает одно из самых любопытных противоречий западной христианской культуры. Европа и средневековый универсализм находятся в конфликте. Фактически, утверждение идеи Европы даже сдерживается христианским универсализмом: потому что – и это нетрудно понять – Европа является слишком ограниченным полем для амбиций *societas Christiana*, которая хочет быть именно универсальной. И если в предыдущие годы Европа казалась большим полем для евангелизации, то открытость к новым мирам заставляет ощутить ее малость.

На той же почве, но с противоположными позициями, находятся некоторые светские опасения. Вспомним, например, Данте Алигьери. Данте использует понятие «Европа» десятки раз, но, поскольку он считает своим долгом противостоять теократии и считает Европу слишком папской, он обращает свои мысли к миру в целом, миру, где многообразие интересов позволяет не считать само собой разумеющимся утверждение римского папы.

Между ускорениями и отступлениями, со всеми противоречиями, о которых говорилось выше, можно сказать, что в целом XI–XIII века не были веками, в которых европейская идея пользовалась особым успехом. В этот период люди культуры отмечают большее успех других концепций. Большую силу демонстрировали, с одной стороны, понятие «Священной Римской империи», а с другой — первые проявления «национальных» идей. В первом случае речь шла об идее, подражающей прошлому — прежде всего каролингскому и отонскому, во втором — о признании сфер цивилизации, имеющих прежде всего лингвистическую коннотацию.

Идея Европы возродилась в XIII веке в форме оборонительного объединения из-за *timor Tartarorum*, страха перед монголами, который имел бы кратковременный эффект, если бы

впоследствии не был переосмыслен как страх перед турками после утверждения династии сельджуков в исламском мире и экспансионистских настроений ее владычества. XIII век также является золотым веком картографии и географической науки. Начинают различать континенты и утверждается новое, чисто географическое понятие Европы, менее нагруженное другими значениями и, следовательно, более приемлемое. В этой области исследований и размышлений наблюдается некоторое ускорение: в XIII веке Бартоломео Англичанин представляет Европу как единое целое умов и впервые присваивает ей своего рода культурную столицу, отождествляя ее с Парижем (местом расположения первого важного университетского центра теологических и философских исследований); в XIV веке Джордано ди Северак формулирует прогноз о будущем полном завоевании мира европейцами.

В конце XIV века, с победой турок в Косово в 1389 году, происходит интересное отчуждение, граничащее с отчуждением, западной части Европы. Проекция Испании, Португалии, Франции и Англии в сторону Атлантики в некоторой степени была подготовлена отвлечением крайнего Запада от опасностей и неприятных дисбалансов на восточной границе (): отвлечение, временное безразличие, которые помогают объяснить новую атлантическую проекцию и на которых до сих пор не было достаточно акцентировано внимание.

С другой стороны, несмотря на эту сильную политическую и культурную двуполярность, именно в последние два века средневековья, между XIV и XV веками, сформировалось понятие Европы, схожее с современным: уже не только географическое и научное, но и общеупотребительное, которое можно без риска использовать, поскольку оно является выражением своего рода «ограниченного универсализма», не затрагивающего суверенитет отдельных государств. С тех пор Европа заслуживает определения, данного ей в последнее время Кристофом Помианом: «поле противостоящих сил». Это очень эффективное определение, которое подчеркивает как постоянные тенденции к внутреннему конфликту, так и параллельные тенденции к единству, возникающие из своего рода осознания идентичности по отношению к внешнему разнообразию. И теперь этническое разнообразие больше не обязательно имеет угрожающий облик Востока. В дневниках мореплавателей, в первых хрониках, связанных с географическими открытиями, проступает инаковость коренных народов, инаковость кроткая и поддающаяся подчинению, но все же инаковость. По сути, она почти более подходит для того, чтобы вызывать осознание вместо страха, заставляя европейскую культуру лучше организовываться, готовиться к экспорту.

Эта позднесредневековая Европа, богатая различными идентичностями, но также и «полем противостоящих сил», не подходит для демонстрации этнического происхождения наций, дорогого антропологам-примитивистам, таким как Клиффорд Гирц (те, кто прослеживает в национальном духе черты, запечатленные еще до древнего режима, а значит, неизбежные в последующем историческом развитии), и, в конечном счете, дорогому также антифункционалисту-социологу Энтони Смигу: последний является автором недавней и, возможно, слишком удачной книги, в которой предполагается «предсуществующая этническая мозаика» по отношению к современной эпохе, мозаика, которую мы, медиевисты, внимательно изучающие те века, не можем найти в тех формах, которые ей приписываются. Смит развил концепцию «mythomoteur», уже используемую социологами, – «конститутивный политический миф», основанный на общих воспоминаниях более или менее крупных сообществ, который придает силу идее нации. Только в отличие от Эрика Хобсбаума и других так называемых «модернистов» (которые считают, что нации формируются поздно, между XVIII и XIX веками, и на основе точных «изобретений» воображаемого прошлого), Смит

считает, что этническое происхождение является реальным и неоспоримым элементом, в основном относящимся именно к средневековью.

Мы должны быть осторожны: средневековье на протяжении веков оказалось идеальным контейнером для «мифомоторов», хотя очень редко оно действительно содержало их в качестве исторически подтверждаемых фактов. Эпопея Капетингов, изученная Лемаринье, носит династический характер, но используется для придания французской нации прочного прошлого с сильной идентичностью: и это случай сильной, победоносной нации. Катарийский опыт и культура трубадуров, напротив, служат для придания автономной идентичности окситанским движениям, изученным в их недавних проявлениях Аланом Туреном: и это случай пока проигрывающей нации, состоящей из претензий и желаемого пересмотра политической географии.

Неприемлемо, чтобы европейское средневековье рассматривалось как источник, из которого можно черпать – с помощью удобных, но зачастую дезинформированных дискурсов – легитимные истоки великих национальных образований XIX века или неизвестные корни регионалистских притязаний с неонационалистической направленностью. Этот мир нужно читать изнутри, и, если не рассматривать его как инструментальный берег, он дает нам гораздо меньше того, что в нем хотят найти пропагандисты или неисторики.

В средневековье действительно развивалась идея Европы, но мы видели, с каким трудом и с какими противоречиями: поэтому нельзя говорить о «европейском» средневековье как о м исправлении последующих разделений. В средневековье отделились некоторые лингвистико-культурные области и политические образования, в основном не совпадающие с этими областями, преимущественно династического характера, зародыши тех суверенных государств, которые Марк Блок справедливо определил как институты, наиболее глубоко противоречащие духу родословной (потому что они были территориальными и социально широкими, а не только проекциями сфер влияния династий). Таким образом, средневековье было очень мало «национальным», и не только потому, что было очень раздробленным, но и потому, что в линиях реорганизации, которые проявились в его последние века, не было ничего призвательного: в формировании новых государств не было, короче говоря, ничего заранее установленного в предполагаемой долговечной идентичности народов, которые в основном их населяли. Только финалистический подход – историографически наивный или оппортунистический, в любом случае недопустимый – может объяснить использование этих обычаев средневекового тысячелетия. Неприемлемый финализм, какова бы ни была ценность, ради которой он запускается: желанная объединенная Европа будущего, нации, укрепившиеся в новейшей истории, новые регионализмы федералистского толка. Все может быть хорошо – или почти хорошо – но не стоит нарушать ход истории.

Средневековье можно ценить за то, что больше всего привлекает к нему внимание историков и учителей, а не за то, что оно используется политиками: я имею в виду склонность к этнической интеграции. Как мы видели, за редким исключением, дискуссия о латинстве и германстве уже устарела, сегодня считается, что истинной движущей силой того векового перехода была латино-германская синтеза: синтеза, тем более успешная, чем меньше она сдерживалась сопротивлением и осторожностью.

Возможно, это случайность, но некоторые из политических образований, которые после 1000 года имели наибольшую преемственность, можно отнести к дальнейшим этническим синтезам: княжество Киевское, то есть Россия, состоящая из славян и варягов из Скандинавии, имеет менее бурную и более линейную историю, чем полностью славянская Польша; королевство Уэссекс, то есть Англия, в которой смешались англосаксонская,

датская и нормандская кровь, более удачливо, чем соседние области (такие как Уэльс и Шотландия), в которых доминирует кельтская составляющая; известно о большем успехе Северной Италии, где уже в X веке латиняне, лангобарды и доминирующее франкское меньшинство достигли очень продвинутого слияния по сравнению с Южной Италией, где на протяжении веков лангобарды, латиняне, византийцы, арабы и норманны конфликтовали или сближались, но всегда сохраняли сильную идентичность.

VII. Века предполагаемой «закрытой» и «естественной»

С экономической точки зрения, средневековые века, несомненно, характеризовались тяжелыми условиями жизни: непрекращающиеся войны, неустойчивое заселение различных регионов Европы, утрата функций городов, сокращение площадей возделываемых земель (в пользу лесов и болот, которые во многих местах вновь взяли верх), резкое сокращение (хотя и не полное исчезновение) торговли и денежного обращения были одновременно причинами и следствиями постоянного сокращения населения Европы, которое в VIII веке — по расчетам, которые из-за недостатка источников являются в значительной степени гипотетическими — должно было составлять 1520 000 000 жителей по сравнению с более чем тридцатью миллионами в поздней Римской империи, прежде чем с середины VI до середины VIII века десятки эпидемий чумы обрушились на регионы, выходящие на Средиземное море.

В VII и VIII веках северные и восточные регионы Европы (соответствующие современной Германии и славянским странам) были в меньшей степени затронуты кризисом, что подчеркнуло менее латинский и более германский характер европейской цивилизации тех лет. Но даже в этих районах — отчасти потому, что они всегда были менее заселены, отчасти потому, что, как и везде, произошло сокращение площади возделываемых земель — в ландшафте явно преобладали не возделываемые земли: леса и лесостепи от побережья Атлантического океана до Дуная, преимущественно степи от современной Венгрии на восток. Леса покрывали большую часть территории, а внутри них, как островки поселений, располагались города и деревни. Деревни были населенными пунктами различной формы и размера. За пределами заселенной и в основном огороженной территории простирались возделываемые земли, принадлежащие деревне, с полями (преимущественно под зерновые культуры), виноградниками и лугами. Еще дальше находилась полоса общинных земель: пастбища и леса, ухаживаемые общиной (для сбора листьев, веток и древесины, для выпаса свиней, которые питались желудями дубов). За этими тремя зонами (заселенной, возделываемой и общинной) простирался лес, по которому ходили только изредка и который использовался для охоты.

Карл Великий принял законодательные меры в отношении подобных ситуаций: нельзя было путать аллодиальные земли (от латинизированного термина *alodium*, который, как и древнегерманское *al lod*, в документах того времени обозначал полное право собственности) с бенефициарными землями (очевидно, потому что владельцы феодалов уже тогда имели тенденцию считать их своей собственностью); власть имущие королевства не должны были требовать от крестьян *corvées* (то есть трудовых услуг) в качестве публичных налогов, а только в качестве платы за земли, предоставленные в аренду (очевидно, потому что уже тогда государственные чиновники пытались извлечь выгоду из управления своими латифундиями, а крупные землевладельцы пытались получить услуги феодального характера). Одной из целей было сдерживать недисциплинированность и алчность крупных семей, как показывает

Capitulare de villis: этим законом Карл позаботился об упорядоченном управлении *curtes* королевской «казны» (то есть государственного имущества, короны), осуждая склонность многих аристократов королевства использовать их в личных целях.

Из документов мы узнаем, что помимо короля, другие крупные землевладельцы также имели *curtes*. Что такое *curtes*? Почему средневековая экономика часто отождествляется с куртской системой? Следует ли считать куртскую систему формой «закрытой» экономики? И можно ли по-прежнему называть «куртской» аграрную экономику последних веков средневековья?

Правда, что почти все крупные поместья раннего средневековья до первого века после 1000 года были организованы в *куртусы*: развиваясь из древних римских *вилл* (и иногда продолжая называться *виллами*), они основывались на принципе смешанного ведения земель: одной частью непосредственно занимался крупный землевладелец, другая часть была разделена и передана в управление крестьянам. Часть, управляемая напрямую, называлась *dominicum* или *pars dominica* (потому что хозяин назывался *dominus*, термин, который, как мы увидим, впоследствии обогатился дополнительными значениями) и может быть также определена как «помещичья резерва»; часть, управляемая опосредованно, называлась *massaricium* или *pars massaricia*.

В *dominico* хозяин в основном использовал труд рабов: привлечение наемной рабочей силы было очень редким явлением, и известны лишь несколько случаев в Северной Европе, в частности на Британских островах (которые с точки зрения управления крупными латифундиями представляют собой отдельный случай, поскольку характеризуются более мелкими и компактными сельскохозяйственными предприятиями, *манорами*).

Крестьяне *массарикума* платили аренду (всегда с очень длительным сроком, часто пожизненным или наследственным) долями продукции или деньгами (часто и тем, и другим) и предоставляя определенное количество рабочих дней на *доминикуме*, знаменитые *corvées* (на латыни слова *corvaria* или *corvata* соответствовали понятию «принудительный запрос»): таким образом, наиболее распространенные *corvées*, то есть сельскохозяйственные (а не те, которые требовал господин для содержания замка или дороги), не требовались от всех жителей региона, не были политическим или феодальным обременением, а были формой оплаты аренды крестьянами, которые имели экономическую связь с владельцем земли.

Благодаря этой форме управления *dominicum* мог позволить себе использовать небольшую рабочую силу (людей и оборудование), дополняя ее услугами, предоставляемыми крестьянами *massaricium*: это характерная черта того, что часто называют «куртской системой». Идея о том, что *curtis* и, следовательно, «система» *curtense* подразумевали закрытую, самодостаточную экономику, основанную на бартере, с чистым обменом натурой, без денежного обращения и без влияния рынка, была очень популярна в конце XIX века (Альфонс Допш). В начале XX века она была поддержана так называемыми «минималистами», но была опровергнута исследованиями последних десятилетий, которые подтвердили довольно широкое распространение еженедельных рынков в течение X века: в конце концов, эта идея не могла быть согласована с доказанной топографической фрагментацией (на множество территорий деревень) каждой отдельной *куртисы*. Правда, из некоторых источников (например, *Capitulare de villis*) следует, что, по крайней мере, в теории и на стадии проектирования администраторам крупных *curtes* предлагалось стремиться к самодостаточности, но эти цели редко достигались.

Часто все формы оплаты земли в виде ренты (натурой, деньгами, трудом) сосуществовали: преобладание той или иной формы следовало нерегулярным тенденциям. Нельзя сказать, что в раннем средневековье явно преобладали ренты натурой, которые постепенно заменялись рентами деньгами: были некоторые этапы в средние века, когда, благодаря особым преимуществам, которые рынок предоставлял феодальной экономике, помещик предпочитал получать продукты для продажи, которые можно было превратить в сумму денег, более значительную, чем та, которую он получил бы от прямых денежных выплат крестьян. Таким образом, не существует упорядоченного развития истории от «натуральной экономики» к «денежной экономике», как считалось в прошлом веке.

Часто подтверждаемая возможность крестьян располагать деньгами подтверждает существование небольших местных рынков, на которые крестьянская семья иногда могла приносить свою продукцию: в годы хороших урожаев или даже возделывая небольшие участки земли, отнятые у залежей, без ведома хозяина *куртиса*. Расширяя с предприимчивостью и жертвами — и в некотором смысле незаконно — свою базу для возделывания, крестьянская семья также располагала небольшой долей продукции, которая ускользала от контроля хозяина и могла служить для повышения уровня потребления семьи или обеспечения небольшого дохода.

Крестьяне получали от хозяина землю для возделывания по контрактам, в основном неписаным, но от этого не менее торжественным и эффективным. Во всяком случае, в первую фазу истории *куртиса* земледельцы *массарики* были в основном юридически свободными. Таким образом, сильно упрощая, можно сказать, что вначале рабский труд был сосредоточен в *доминикуме*, а свободный труд (по-латыни *ingenuilis*) — в *массарикуме*, но ситуация была изменчивой и менялась в связи с постепенными изменениями в структуре *куртиса*.

Мелкие землевладельцы (называемые «аллодиерами»), которые еще были очень многочисленны в раннем средневековье, чувствовали себя в постоянной опасности: у них рос интерес к поддержке со стороны крупных землевладельцев, которые имели частные вооруженные отряды, способные обеспечить минимальную защиту, оборудовали свои фермы укреплениями и могли предоставить большие укрытия и склады для людей, животных и продуктов в периоды опасности. Многие мелкие аллодиры решили отказаться от полного права собственности в обмен на гарантию остаться арендаторами на своих землях и возможность получить защиту крупного сеньора и воспользоваться укреплениями и другими оборонительными сооружениями большой *куртис*. Они «положились» на латифундиста, доверились ему. Эти «посвященные» дарили свою собственность латифундисту, сохраняя за собой «полезное владение» (то есть право пользования): то есть они становились цензуариями крупного землевладельца; их земли становились частью *куртиса*; в частности, они способствовали — оставаясь в их ведении как колонисты — увеличению *массариция*. Эта форма роста *курт* — очень значимая в X веке — является дополнительным объяснением некомпактной формы многих из них: потому что ответвления *массариция* распространялись везде, где новые крестьяне решали стать колонистами. Мелкая собственность никогда не исчезала полностью, но *курт* крупных владельцев, безусловно, переживали фазу расширения.

Достигнув пика развития, *куртусы* начали трансформироваться. *Доминикум* сокращалось, а *массарициум* расширялся. Поэтому средневековая сельская местность все больше характеризовалась не только свободными колонистами, но и двумя различными категориями слуг: «домашними» слугами, которые продолжали работать под непосредственным руководством хозяина, обеспечивавшего их пропитанием и жильем; и «семейными» слугами,

которым были поручены доли *массарикума* и которые теперь были сопоставимы со свободными колонистами.

Освобождение крепостных (в некоторых случаях коллективное освобождение); переселение многих из них в массарико (где они имели более широкие экономические и сельскохозяйственные возможности); отказ от полного права собственности со стороны многочисленных мелких землевладельцев, которые вошли в состав *курт*; вынужденное принятие рабского *статуса* манси со стороны свободных безработных; и, прежде всего, сосуществование в одних и тех же деревнях семей свободных и семей крепостных, к которым господин стремился применять – когда ему удавалось сделать это без протестов – одинаковые налоги, определили определенную тенденцию к гомогенизации положения крестьян. Марк Блок, подчеркивая тот факт, что ни один раб больше не был собственностью господина (как это было в древнем мире), и отмечая, что многие свободные люди видели ухудшение своего положения – с вынужденным принятием условий рабского типа – справедливо определил «крепостничество» как хаотичное и запутанное состояние, в котором находились многие земледельцы средневековой деревни.

Это не исключает того, что многие свободные люди (мелкие землевладельцы или крестьяне, обладавшие личной и явной юридической свободой) были полностью свободны, без всякой путаницы. С другой стороны, следует исключить, что средневековые сельские районы были заселены однородными группами «крепостных». Крепостные – это историографическая категория XIX века, которая имела огромный успех, но которая, напротив, должна быть радикально пересмотрена. Некоторые редкие упоминания об *adscriptus glebae* или *adscripticius* (то есть крестьянах, юридически привязанных к своей земле) поразили воображение первых исследователей средневековой сельской истории и, даже после исследований Блоха, повлияли на их выводы: то есть было принято считать, что «крепостное право», о котором говорил Блок, касалось людей, находившихся в лучшем положении, чем рабы, но для которых основным ограничением свободы была обязанность – их и их наследников – возделывать поля, к которым их жизни были привязаны принудительно.

За исключением нескольких случаев, когда целые группы крестьян были фактически привязаны к земле (известны подобные ситуации, например, в окрестностях Болоньи и Верчелли), представление о том, что средневековые сельские районы были заселены и возделывались большой и однородной категорией крепостных, является глубоко ошибочным. Некоторые были крепостными, как мы видели, и поэтому их свобода была ограничена их правовым статусом: и она была ограничена полностью, а не только привязкой к земле. Многие другие были свободными крестьянами: даже когда их преследовали в суде (феодалном или, как мы увидим, муниципальном) за то, что они покинули свои поля, их не разыскивали и не осуждали как «крепостных», которые восстали против привязки к земле. Нет: их преследовали за то, что они нарушили договорное соглашение, заключенное на 29 лет или пожизненно. Хозяева были недовольны тем, что их планы были сорваны, они часто соглашались на желание главы крестьянской семьи заключить договор аренды на всю жизнь или даже по наследству: внезапное бегство могло оставить поля непродуктивными на целый сезон (а в некоторые периоды нехватки рабочей силы и на более длительный срок), и, конечно же, хозяева защищали свои интересы.

Сельская мобильность в средние века не всегда была связана с «беглыми крепостными»; было много свободных людей, которые, изменив условия, которые сделали их крестьянами, пытались уйти от ритма жизни большого поместья, чтобы попытаться счастья в других местах, в отдаленных регионах, которые, возможно, нужно было возделывать, или в городах, где они могли заниматься другой работой: но это не были «крепостные», которые

больше не принимали свой правовой статус; это были свободные люди, которые нарушили соглашение и именно за это — а не за что-то другое — подлежали судебному преследованию.

Процессы расширения *massaricium* и сокращения *dominicum*, однажды начавшись, уже не останавливались. Крупные землевладельцы ценили удобство иметь очень ограниченный поместный запас, предназначенный исключительно для производства полезных для поместной семьи продуктов (в основном ценных, таких как вино), не иметь необходимости непосредственно контролировать слишком много наемных работников, иметь возможность рассматривать обширное массариум как зону, из которой можно получать продукты для поставки на рынки, а также фиксированный и гарантированный доход. По возможности они старались заключать соглашения с фиксированной арендной платой (а не с переменной долей от производства): таким образом, в тяжелые годы или даже в годы настоящего голода жертвы приносили исключительно крестьяне, которые в любом случае должны были платить помещику налоги натурой и деньгами, а на экономику помещиков это практически не сказывалось. Ограниченные размеры *dominicum* делали *corvées* в основном ненужными, и помещики требовали полную оплату ренты натурой и деньгами (а не трудом).

Этот процесс происходил в XI веке: в некоторых районах Европы *curtis* исчезла уже в первые десятилетия, в других — только в конце XI — начале XII века. Историки утверждают, что понятие *curtis* не исчезло, а «территориализировалось». Что это означает? Это означает, что *curtis* больше не была хозяйственной единицей, а стала конкретным местом или ограниченной территорией. В этом втором, более ограниченном значении слово «*curtis*» сохранилось в топонимике, часто до наших дней: Cortemaggiore — это название места, соответствующее центру самой обширной *curtis* в определенной области; Corteregia — название места, соответствующее *caput* древнего королевского налогового двора; Cortenuova — название центра куртиса, возникшего в определенном регионе позднее, чем другие. Этот центр куртиса, как правило, продолжал оставаться важным помещичьим хозяйством, но, строго говоря, уже не был «куртисом» по своему функционированию, не был больше стержнем аграрного и организационного разделения между прямым и косвенным управлением.

Возрождение городов, укрепление производственной и финансовой инициативы, расширение слоя, который мы можем назвать «буржуазным», являются составляющими того, что в прошлом называли «торговой революцией» XII и XIII веков. Если и можно говорить о «кризисе XIV века», то именно потому, что в предыдущие два столетия Европа продемонстрировала экономический динамизм, который был серьезно прерван не только локальными войнами, но и голодом и эпидемиями. Но, возможно, ситуация IX-XI веков, описанная с помощью функционирования куртисов, помогает переоценить «революционный» характер экономического и торгового подъема. Деньги никогда не переставали существовать, в *куртисе* не существовало закрытой экономики, рынки были, и на них не практиковался бартер, мелкая собственность никогда не исчезала, существовала мобильность рабочей силы, и свободные люди не были сведены к положению «крепостных». Просто и постепенно, в XII веке, «прибыль», полученная от сельскохозяйственного производства (прибавочная стоимость первоначального накопления), начала реинвестироваться в новые предприятия и торговлю: часто самой земельной аристократией (которая не всегда ограничивалась увеличением своего роскошного потребления), а также новыми городскими слоями, которые часто совмещали сельскохозяйственную, ремесленную и финансовую деятельность.

VIII. «Христианское» средневековье

Церковно-религиозные темы, пожалуй, являются теми, в которых менее уместно иметь единое представление обо всем средневековье. С другой стороны, именно на этих темах были построены необоснованные связи: между средневековьем и идеей могущества мракобесной и угнетающей Церкви со стороны просвещенного и светского XVIII века; между средневековьем и высшими уровнями духовности со стороны современной католической культуры, которая также имела анахроничную тенденцию интерпретировать как «исключения» или «кризисы» все средневековые поведения, не соответствующие ее религиозной чувствительности. Общая культура, обусловленная той или иной пристрастной интерпретацией, в любом случае сохраняет однородный образ «христианского средневековья» и склонна игнорировать многие интересные аспекты и разнообразие средневековых религиозных опытов. Существовало несколько вероисповеданий, а не просто пережитки языческих культов, и несколько видов христианства.

Остановимся теперь на католическом мире. Прежде всего, говоря о епископах и монастырях, полезно пояснить, что прилагательное «церковный» обозначает все, что имеет отношение к церковному аппарату и «заботе о душах» *societas Christiana*, в то время как прилагательное «религиозный» имеет более общее значение. Епископские резиденции, приходы, парафии, часовни с алтарем и купелью являются «церковными учреждениями», монастыри же таковыми не являются (потому что, особенно в первые века средневековья, было уже много, если один из монахов получил священническое рукоположение и мог «официровать», то есть служить мессе и совершать таинства). Когда нужно обозначить все учреждения, как церковные, так и монашеские, следует использовать более общее понятие «религиозные учреждения». Необходимо было бы привести еще много подобных уточнений, но ограничимся основными.

Священников можно также называть «клериками» (от латинского *clerici*) или «священниками» (от *presbyteri*), а средневековые монахи в большинстве своем таковыми не являются (если только они не получили священническое рукоположение, как мы уже видели): они являются мирянами, которые решили вести молитвенную жизнь не в одиночестве (в этом случае они были бы «отшельниками»), а в общине («ценобий», поэтому их также называют «ценобитами») и подчиняясь монашескому правилу (наиболее распространенным является правило святого Бенедикта).

Все центры монашеской жизни можно назвать «монастырями», но «аббатствами» называются только те, у которых есть свой аббат: монашеская зависимость с несколькими монахами, связанными с удаленным материнским монастырем (в средневековье Клуни был центром с наибольшим количеством зависимостей, аббатом которых для всех был аббат материнского монастыря), можно назвать «монастырем» (или «приоратом», если им управляет приор), но не «аббатством». Например, в первые века после 1000 года Св. Микеле делла Кьюза был аббатством, а Новалеза (более древний и столь же престижный) им не был (он был приоратом), потому что зависел от аббата Бреме.

Нищенствующие ордена проповедников и меньших братьев, доминиканцы и францисканцы, не называют себя монахами, а «братьями» (от *fratres*, братья), потому что их особенностью было не следование монашеским правилам (предполагавшим жизнь в молитве, удаленной от мира), а новые правила, основанные на социально-религиозном служении миру. Штаб-квартиры этих орденов называются не монастырями, а «конвентами», термин, который, однако, мало подходит для предыдущих бенедиктинских монастырей.

Термином «каноники» обозначаются все те верующие, которые ведут общий образ жизни, подчиняясь каноническим правилам (самым известным из которых является правило святого Августина), отличным от монашеских и более ориентированным на помощь и пастырскую деятельность: каноники, как и монахи, могли быть мирянами, но часто были клириками: это, например, случай каноников собора, которые сотрудничают с епископом в его деятельности. Поэтому всегда неправильно (хотя это часто встречается, например, в туристических путеводителях) называть «монастырем» «канонику»; так же как неправильно называть «церковью» небольшой монастырь, в котором нет алтаря.

Плебеи (приходы) — это церковные территориальные подразделения внутри епархий (независимо от их размера, приходы являются предшественниками парафий), и это подразделение было особо учтено в законодательстве Карла Великого, который ввел упорядоченную структуру епархий и их систематическую группировку под высшим контролем митрополита или архиепископа.

Термин «кардиналы» не обозначает «архиепископов» (или «митрополитов»), то есть тех наиболее важных епископов, которые курируют несколько епархий и имеют под своим руководством других епископов. «Кардинал» — это тот священнослужитель (не обязательно епископ), которому было поручено управление одной из «кардинальных церквей» епархии Рима: с первых десятилетий XI века, после известной реформы папы Николая II, необходимо было быть титуляром одной из этих кардинальных церквей, чтобы входить в состав избирательного коллегия, ответственного за избрание папы (папа, или понтифик, был, собственно, епископом Рима).

Помимо этих элементарных терминологических уточнений, необходимо внести много исправлений в общепринятые представления о религиозной истории средневековой Европы. Только после XII века папство стало монархическим, только после этого папа стал абсолютным главой всего католического христианства, как и в современную эпоху. Но до конца XI века это было не так: папа был лишь епископом Рима, который, да, имел «примат чести» (то есть имел решающее слово в теологических вопросах), но не управлял Церковью. Отдельные епископские кафедры были суверенными, координировались в митрополиях или архиепархиях, часто принимали решения о формах церковного управления на региональных собраниях различных епископов (соборах или синодах) и могли принимать решения, отличные от решений Рима или епископов другого региона. Это объясняет, почему жизнь христиан могла быть разной в разных частях Европы, почему, например, в раннем средневековье в некоторых регионах священнослужители могли жениться, а в других нет, в некоторых епископы могли сражаться, а в других нет. Это объясняет, почему еще в XII веке церковные нормы (решения, принятые вышеупомянутыми не общими, а значит не «вселенскими» соборами), нормы, которые называются «канонами», были настолько многочисленны и настолько противоречивы между собой, что побудили великого монаха-юриста Грациан, попытаться упростить и навести порядок с помощью своего *Decretum*, также называемого *Concordia discordantium canonum* (согласие противоречивых канонов). В конце концов, до конца XI века следует говорить о «церквях» во множественном числе, а не о «церкви»: Римская церковь стремилась выступать в качестве координатора христианства, но до 1000 года это не было обычной практикой.

Великий папа XI века Григорий VII прославился своим конфликтом с империей и Генрихом IV. Но его самым успешным достижением было другое — успешное завершение «реформы» церкви, превратившей ее в централизованную и монархическую структуру, в которой все епископы подчинялись Риму. Это в значительной степени отвечало потребностям рационализации, которые затем нашли свое выражение в *Декрете* канониста Грациана. Но

это было также ответом на новые представления о религиозной жизни и церковной организации, связанные со зрелостью христианизации Европы. Некоторые движения верующих (такие как «патарины» в Ломбардии) были особенно строги к образу жизни своих епископов и клириков. Некоторые папы, и в частности Григорий VII, интерпретировали эти требования, предполагая, что строгая координация всего христианского мира позволит более эффективно бороться с формами отклонений. Симония (купля-продажа церковных должностей) была одной из форм отклонений, с которыми тогда боролись, так же как и николаизм (сожительство клириков): хотя и то, и другое не были результатом коррупции, дегенерации древних обычаев, а скорее относительно нормальными практиками в мире, привыкшем считать алтарь служением, священство призванием, да, но также и ремеслом, а брак клириков практикой, которая не так давно была заброшена. Когда же велась полемика против церкви, «попавшей в руки мирян», не осуждалась дегенеративная новизна, а атаковалась традиция: например, «частные церкви» (основанные аристократическими семьями, которые затем обеспечивали их выживание) были важной услугой, которую светские основатели предоставляли району, в котором они находились, они всегда существовали, и с религиозной точки зрения не имело большого значения, что основатели действовали с целью повышения своего престижа и обеспечения себе назначения священников, которые становились хранителями этих церквей.

Некоторые церковные интеллектуалы XI века и их лидер, папа Григорий VII, успешно стремились к «реформе», а не к «реставрации». То есть они ввели настоящие нововведения, не пытаясь вернуть Церковь к предполагаемым идеальным формам функционирования (типа «евангельских»), которых никогда не было: настолько, что некоторые типичные для раннего средневековья церковные элементы – такие как «частные церкви» – продолжали существовать, потому что общество в них нуждалось.

Преобразование Римской церкви в бесспорный центр всего католического христианства удалось Григорию VII в конце XI века. Многие епископы («антиреформаторы») пытались противостоять этому, но дело было закрыто в 1122 году с подписанием Вормского конкордата между папой Каллистом II и императором Генрихом V: две великие всемирные державы признали друг друга и согласовали формы одобрения обоими избранных епископов. Согласие короля было необходимо, потому что ни один епископ не хотел добровольно отказываться от публичных прав (*регалий*), которые он осуществлял над городами и пригородами в основном с незапамятных времен, с тех пор, как первые франкские королевства нуждались в политическом и военном сотрудничестве с этими авторитетными личностями, которым граждане охотно подчинялись.

Глубокая взаимосвязь между гражданской и церковной администрацией возникла еще во второй половине VI века. С одной стороны, короли гарантировали церквям военную защиту и налоговые льготы, с другой — обычно вмешивались в епископские выборы, навязывая им своих кандидатов. Эти епископы, происходившие из аристократических семей и пользовавшиеся большим авторитетом среди населения (по схеме, не отличающейся от той, что уже существовала в галло-римских королевствах), теперь были очень близки к королевской власти, что еще больше способствовало укреплению их роли. В районах, где они были гегемонами, особенно вокруг городов, епископская власть в конечном итоге стала своего рода интегратором общественного порядка. На протяжении всего раннего средневековья и до тысячелетия, от Меровингов до династии Фридриха Барбароссы, епископы, хотя и не были официальными представителями короля, были его доверенными лицами, оптиматорами королевства, поэтому можно было терпеть, что в районах, подконтрольных им, нарушался общественный порядок и графы не могли туда входить. Когда

такая радикальная льгота была официально закреплена, ее стали называть «иммунитетом». Иммуитет не имел ничего общего с «феодальным» аспектом и с отношениями вассалов и бенефициаров. Епископы и аббаты, обладавшие иммунитетом, создавали свои собственные вооруженные силы — часто вассального типа — и использовали свой авторитет, чтобы легко мобилизовать население в случае опасности или когда необходимо было выполнить крупные работы, представляющие общий интерес (дороги, укрепления). В конце концов, короли знали, что в районах, где действовали иммунитеты, у них были действующие полномочия, которые не противоречили короне. В условиях сложности создания однородной и идеально упорядоченной системы провинций преимуществом было то, что некоторые районы находились под властью дружественных сил, не были наследственными и не были оторваны от королевства, когда королевство должно было приступить к общей военной мобилизации.

Само собой разумеется, что чистый иммунитет не мог функционировать. Он развивался спонтанно как конкретное судебное действие со стороны иммунитета, и со временем эта юрисдикция была признана дипломами, которые предоставляли не только иммунитет, но и, явно, право наказывать, привлекать к суду, призывать к оружию: *ius distringendi*, более широко известное в этих дипломах как *districtio* или *districtus*. Учитывая их иммунитет, неудивительно, что многие епископы и аббаты были указаны в публичных дипломах среди «великих» франкских королевств, таких как герцоги и графы.

Эти средневековые прецеденты гражданских полномочий епископов объясняют, почему сегодня среди историков вступила в кризис идея о том, что в некоторых регионах Европы (и особенно в Италии) королевская власть, недовольная чрезмерной автономией графов, с середины X века проводила систематическую политику укрепления власти епископов. Особенно в кризисе находится злоупотребляемое понятие «епископ-граф». Сама политика Оттонов вовсе не кажется подчиненной последовательной проепископской логике, а скорее констатирующей позиции: были епископы, которые уже обладали большой властью и которых было целесообразно держать в союзе, а были и такие, которых следовало устранить из-за их чрезмерной власти: в обоих случаях короли стремились рационализировать существующее положение дел с помощью корректирующих мер.

Уже это отталкивает нас от образа итальянского королевства, покрытого епископами-графами. Но фигура епископа-графа имеет более подробное и убедительное внутреннее опровержение. Положительным развитием иммунитета был *districtus*: право принуждать, в его первоначальном значении, и область применения этого права в последующей истории термина (так же, как и в современном, полностью территориальном понятии «округ»). Когда королевские дипломы добавляли к иммунитету *districtus*, они определяли количество миль, на которые распространялась епископская юрисдикция вокруг городских стен.

В период между X и XII веками эти права расширили свой радиус действия. Королевские дипломы устанавливали, что иммунитет и *districtus* должны считаться распространяющимися «на всю территорию, соответствующую комитету», который подчинялся городу. Тщательный анализ документов такого рода позволяет понять, что территория графства использовалась в основном как географическая единица: даже те немногие епископы, которые получили столь обширный *districtus*, были далеки от того, чтобы стать королевскими чиновниками. Они не должны были отчитываться перед королем о своих действиях так же, как графы, потому что не входили в государственный аппарат в качестве чиновников: они не были «графами», а обладали привилегией, то есть имели власть, присущую дворянам, но официально закрепленную высшим государственным признанием.

В рамках представления о средневековье даже в отношении монастырей существует немало стереотипов, которые необходимо преодолеть. В средние века монашество пережило некоторые из своих наиболее значительных преобразований. Наибольшим проявлением бенедиктинского монашества, ориентированного на автономию, самостоятельное управление властью и даже независимость от епископской власти, было французское аббатство Ключи, основанное в начале X века и впоследствии развившееся с бесчисленным количеством филиалов по всей Европе. Все они были монастырями, причем довольно важными; только один из них был аббатством, именно Ключи, и он осуществлял своего рода высший дисциплинарный и организационный контроль, более или менее эффективный в зависимости от периода и региона. Даже бедные области, не имевшие зависимости от Ключи, находились под его влиянием: симптомами этого влияния в различных бенедиктинских аббатствах были гордость за свою эффективность, закрытость по отношению к внешнему вмешательству, частое выступление на стороне папы против епископов, любовь к торжественной литургии, предпочтение великолепия скромности. Было бы неправильно морализировать по поводу некоторых проявлений богатства средневековых монастырей: роскошь была признаком высшей духовной дисциплины, означала, что монастырь оставался морально надежным и продолжал привлекать много пожертвований. Демонстрировать богатство означало демонстрировать религиозность и честность: таким образом, верующие знали, что они делают пожертвования или составляют завещания в пользу монахов, чьи молитвы были особенно услышаны, и богатство еще больше увеличивалось.

Аристократические семьи основывали монастыри, чтобы обеспечить конкретные и эффективные ориентиры для своего территориального контроля: защищая монастыри, помещая в них своих членов, великие семьи показывали, что они вовсе не считают их местами, отделенными от мира, а, напротив, центрами организации консенсуса. Монастыри были важными местами для народной религиозности: представление себя в качестве их защитников давало легитимность феодальным властям, стремившимся к укреплению своего положения. Кроме того, феодальные семьи компенсировали рассеяние, вызванное разветвлением, именно путем поддержания идентификации в монашеских общинах: размещение в монастырях членов разных ветвей, содействие различным встречам в них были корректирующими мерами против рассеяния, они поддерживали единое сознание в больших и разрозненных семейных группах.

Наиболее престижные и важные монастыри были не только посредниками, но и обладателями собственных феодальных полномочий, часто (как в случае с епископами) полученных в результате торжественных «иммунитетов», полученных от королевства, когда оно еще было эффективным. В любом случае, бенедиктинские монастыри оставались молитвенными общинами, «высшими» проявлениями мира, который в целом воспринимал себя как христианское общество и особо уважал тех, кто молился за свое спасение и спасение благодетелей. Они были значимыми социальными реалиями, поскольку отражали в себе, конденсировали в себе интересы и образ жизни того мира. Монахи заботились о обществе, возможно, меньше, чем мы, привыкшие к более гуманитарному и благотворительному толкованию религиозной практики, были бы склонны думать. Они не любили работу, кроме как в качестве необходимого условия для молитвы, не верили в очищающую функцию ручного труда: даже современные бенедиктинцы, филологически внимательные к историческим применениям Правила, призывают развенчать клише, которому поддавалось «ora et labora». Средневековые монахи проявляли свою наиболее активную социальную активность в сети средневековых коммуникаций: они не уклонялись от

функции центров помощи паломникам и путникам всех уровней и были местами особой защиты в мире, в котором было очень трудно жить.

В течение XII века, после пика престижа и политического участия, традиционные монастыри начали подвергаться критике за свою феодальную мощь и аристократическое отношение (в основном являвшееся результатом не коррупции, а последовательной традиции). Особенно Клуни и другие крупные бенедиктинские монастыри подвергались обвинениям в отсутствии в их стенах культуры бедности. Начали требовать большего участия в благотворительной деятельности (на что откликнулись не столько монастыри, сколько канонические коллегии, имевшие характер больниц) или большего отказа от власти и богатства.

В этой обстановке бенедиктинское монашество, переосмысленное картезианцами и цистерцианцами, имело большой успех и ускорило кризис прежних монастырей, отвлекая на себя щедрое покровительство власть имущих, которые хотели поддерживать религиозные учреждения, любимые народом, а не монашеские господства, вызывавшие к тому времени недоверие. Более чуждые земным заботам, более посвященные одиночеству – как следует из *Consuetudines certosine* – «новые» монахи на самом деле не были радикальными новаторами. Они продолжали заботиться о материальном благополучии, в большей степени занимаясь скотоводством и реорганизуя сельское хозяйство с помощью метода «гранж», тем самым улучшая техники возделывания земли. Они по-прежнему оставались более уединенными, но все же престижными пристанищами для знатных семей. Но, несомненно, их монастыри больше не были амбициозными центрами власти, они больше не были сеньориями и характеризовались повседневной жизнью, которая приближала их к жизни крестьян: крестьян, которые по-прежнему были экономически зависимыми, но стали немного менее политически зависимыми.

IX. Средневековые коммун между мифом и реальностью

Мир, достигнутый Фридрихом I Барбароссой с итальянскими коммунами, служит для исправления представления о том, что «эпоха коммун» представляла собой преодоление «феодальной» фазы: император и король Италии согласился, чтобы коммуны Ломбардской лиги продолжали взимать «регалии» (то есть налоги, относящиеся к сфере публичной компетенции) в обмен на клятву, которой они признавали себя коллективными вассалами короля.

В Италии группа семей, которая дала начало коммуне, могла быть аристократической или буржуазной, но в обоих случаях она дала начало политическим ядрам, обладавшим большой движущей силой. По всей Европе можно говорить о коммунах, но только в Италии и, отчасти, в южной Франции можно говорить о городах-государствах. *Граждане* этих коммун не довольствовались автономией в пределах своих стен (как имперские города Германии или крупные буржуазные коммуны Фландрии), но подчиняли себе в той или иной степени окружающие сельские районы, над которыми коммуна становилась коллективным господином.

В мире, который был в основном сельским – где почти только на северных побережьях и, прежде всего, на побережьях Средиземного моря были большие города, – правила сосуществования были преимущественно правилами сельского мира: и неудивительно, что наиболее инновационные политические и социальные организации, городские коммуны, вписывались в проверенную сеть, которая была феодальной вверх (коммуны как

коллективные вассалы короля) и сеньорской вниз (коммуны как коллективные господа сельской местности).

Тем не менее, престиж городских центров был высок даже в средневековье: он определялся традицией централизации, унаследованной от античного мира, экономической активностью городских купеческих и финансовых слоев, харизмой епископских властей, присутствовавших в городах (*civitas* было именно населенным пунктом со своим епископом). В городах мы находим лангобардских герцогов и франкских графов; в городах пытались сосредоточить свою власть (чаще, чем раньше считалось) те же княжеские и сеньорские династии посткаролингской эпохи; в городах сначала возникли важнейшие религиозные школы (школы каноников великих соборов), а затем университеты; города принимали оживленные королевские и княжеские дворы, в которых, как в Париже Капетингов, могла формироваться национальная идентичность, но также, как в Палермо Фридриха II, могли происходить самые смелые слияния разных культур.

Цивилизация позднего средневековья была более урбанистической, но было бы упрощением интерпретировать диалектику «город-село» как диалектику «отсталость-прогресс». Крупные латифундии, оружие, власть над сельскими районами диктовали правила почти на протяжении всего средневековья, определяя социальную иерархию и устанавливая правила политики. Но всегда используя города в качестве ориентиров: город был рынком, местом урбанизации аристократических семей, местом, где становились вассалами епископа. Городское сосуществование, в свою очередь, фильтруя и проецируя вовне, переосмысливало опыт сосуществования в пределах городских стен различных социальных слоев и различных политико-социальных моделей, даже если они имели древнее сельское происхождение. Итак, инновация имела в городе свой движущий центр (), но эта инновация перерабатывала материалы, которые все же оставались теми же – решающими для средневекового тысячелетия в Европе – материалами латино-германского столкновения.

Пост-каролингская Италия, в отличие от остальной Европы и за исключением Фриули и Пьемонта, не создала территориальных княжеств. Одна из причин этого кроется в том, что территориальное княжество было заменено коммуной, которая в Италии, в отличие от регионов к северу от Альп, не довольствовалась автономией в пределах своих стен, но устанавливала гегемонистский контроль над сельской местностью, создавая то, что можно назвать «городами-государствами».

Нельзя дать полностью «буржуазно-торговое» объяснение происхождению итальянских коммун, потому что это противоречило бы далеко не редким случаям, когда продвигала коммуны аристократия: часто инициатива исходила от вассалов могущественных епископов, которые почти всегда набирались из числа крупнейших *милетов* сельской местности. Однако не следует делать полного переворачивания и обобщать «аристократическую» теорию происхождения коммун: правильно подчеркивать элементы преемственности между опытом коммун и предыдущими социальными иерархиями, но прежде всего следует принять во внимание, что происхождение различных коммун может иметь самые разные характеристики, как по времени и способам формирования, так и по типам социальных групп, которые были их интерпретаторами. Последующее политическое развитие отдельных коммун, очевидно, зависело от их различного происхождения, но в то же время следует отметить, что разные коммуны впоследствии создали схожие институты: это хороший пример того, как единый институциональный опыт может иметь разных социальных участников, чье созревание этого опыта подталкивает к схожим поведению и политическим выборам. Это позволяет также избежать постоянного ошибочного

использования четких разграничений, которые постулируют социальную смену даже там, где ее нет: при описании перехода от «феодальной эпохи» к «эпохе коммун» предполагалось сильное ускорение неизбежного и однонаправленного прогресса (история никогда не бывает такой), в котором, в лучшем случае, признавались возможные замедления.

Возможность более сложной оценки итальянских коммун подтверждается событиями, связанными с борьбой коммун против Фридриха I Барбароссы, борьбой, которая не имела ничего общенационального и очень мало общественного: многие коммуны Ломбардской лиги имели руководящие слои, которые были скорее аристократическими, чем буржуазными, и все они — даже те, которые были буржуазными — были далеки от идеи Италии или Ломбардии. С другой стороны, Барбаросса, в своих походах в Италию, осуждаемых нашей националистической традицией, выполнял лишь свой долг короля Италии: он был не немецким угнетателем, а просто королем, менее отсутствующим, чем его предшественники.

Значимым в этом плане является исход того конфликта, когда, как мы уже упоминали, Барбаросса согласился, чтобы коммуны продолжали взимать налоговые поступления, принадлежащие королю (*regàlia*), при условии, что в обмен на это коммуны объявят себя его вассалами. Если учесть, что делегирование власти по феодальному принципу было совершенно ненормальным явлением, то позднее феодализация, представленная Констанцким миром, является прекрасным примером использования королем самых сложных юридических инструментов и ускорения феодальной логики именно теми коммунами, которые историки начала XX века ошибочно считали «антифеодальной» новинкой итальянского средневековья.

Это соглашение содержало в себе как «государственную необходимость» римской традиции (кстати, с XII века и далее мы находимся в период возрождения изучения римского права), так и постоянную жизнеспособность вассально-бенефициарных отношений германской традиции (). Королевство стремилось «надзирать», одновременно активно и констатируя, за все более сложную политическую мозаику своих территорий, сумев включить в нее и новый коллективный организм: организованное городское сообщество.

Сама наиболее зрелая, мощная и организованная коммуна завоевала сельскую местность, ведя себя как «коллективный господин», и использовала не новые инструменты подчинения сельских районов. В большинстве случаев коммуны заменили светскую власть епископов в окрестностях города. И когда завоевания коммун распространились за пределы прежнего епископского господства, сельское население очень редко принимало коммуны как освободительную силу от угнетения сеньории банно: напротив, крестьяне часто опасались фискальной эффективности новой коммунальной сеньории. В конце XI и первой половине XII века среди коммунальных руководителей сформировалось сознание своей публичной и легитимной власти *par excellence*. Этому способствовала культура: многие из первых консулов были судьями и нотариусами, которые ускорили признание коммуны как *res publica*. Во многих случаях коммуны даже прибегали к воспоминаниям о каролингском комитете, требуя права управлять всем как законные коллективные правители вместо древнего графа: юристы называют это «правом *comitatinanza*». Само слово «*contado*» (от *comitatus*, именно), обозначающее регион, подчиненный коммуне, происходит от этой общественной концепции коммунальной власти над сельскими районами.

Внутренняя политическая диалектика в коммунах была очень жесткой и противопоставляла друг другу не только разные социальные слои, но и семейные группы, которые вели ожесточенную борьбу с единственной целью утвердить свою власть. Однако эти конфликты

больше не ставили под сомнение некоторые основные принципы: публичный характер коммун и, следовательно, ее право выступать в качестве гегемонной силы по отношению к сельской местности. Конфликты привели, скорее, к изменению внутренней структуры правительства. В то время как основные городские семьи продолжали быть представлены в «советах» (более или менее широких коллегиальных органах, более или менее похожих на ассамблеи), в XII-XIII веках возникла необходимость заменить — сначала спорадически, а затем систематически — коллегиальную власть консулов (которых могло быть от трех до более десяти) исполнительной властью, сосредоточенной в руках одного человека. Это был «поэстат», который сначала, на экспериментальном этапе, был в основном гражданином того же муниципалитета (и в некоторых случаях выполнял функции председателя коллегии консулов), а затем, на этапе становления нового института, был пришельцем и правил, опираясь только на советы. Постеста-чужеземец утвердился почти повсеместно в первые десятилетия XIII века: к нему обращались не столько из-за его нейтральности, сколько потому, что нужен был «профессиональный» политик, знаток права и «искусства управления», умевший энергично поддерживать сложный баланс в городе и, благодаря искусному владению словом, умевший посредничать и убеждать. С введением должности подеста должны были закончиться беспорядочные междоусобные борьбы, беспорядочное занятие властных постов, чрезмерная гибкость органов власти в отношении частных и случайных интересов.

Это не было простой реакцией порядка на беспорядок, это не было вынужденной реакцией на объективную невыносимость городской политики. Очевидно, появились новые социальные действующие лица, различные «новые» семьи: семьи среднего уровня, владевшие землями в окрестностях города, городские семьи, которые укрепили свое положение благодаря торговой и финансовой деятельности, смешанные семьи, которые занимались ремеслом и одновременно управляли владениями и земельными фондами. Эти растущие социальные силы во всех случаях меняли политическую картину коммун: не имело значения, имела ли коммуна, в которой они действовали, изначально аристократический или буржуазный правящий класс (который выражал консулов), потому что, в любом случае, новые семьи противостояли прежней олигархии, какими бы ни были ее социальные особенности и источники богатства.

XIII век был великим периодом перемен, в котором сочетались социальная активность и тенденции к рационализации. Наследие правил, политических концепций и институциональных моделей не было утрачено, когда в начале XIV века отдельные лица (часто «капитаны удачи», то есть командиры ополчений, нанимаемых коммунами для борьбы с соперничающими коммунами) или семьи постепенно захватили власть в крупнейших итальянских коммунах, положив начало эпохе «городских сеньорий». К тому времени города уже имели административные аппараты, без которых было бы абсурдно обходиться: так случилось, что именно с первыми шагами городских сеньорий — когда начался переход к региональным государствам — люди стали патрициями, потому что занимали важные должности, а не становились чиновниками, потому что уже были патрициями. С одной стороны, новые абсолютные власти, очевидно, положили конец демократической и ассамблейной традиции, на которой развивался город, с другой стороны, они использовали многие из аппаратов, которые эта ассамблейная традиция помогла построить: в частности, создатели региональных государств унаследовали от города традицию *res publica*, чтобы легитимизировать свою власть.

В остальной Европе сходные с итальянской коммунальной эволюцией процессы наблюдаются только в южной Франции. В некоторых регионах (Франция и северная

Германия, Фландрия) ярко выраженный ремесленно-торговый характер коммунальных правящих классов оправдывает связь «коммуна = буржуазия», в то время как в центральной и южной Франции нередки случаи, когда правящие классы были аристократического происхождения. Везде были более автономные и менее автономные коммуны: в Германии более автономными были «имперские города», потому что им лучше удавалось ускользать от контроля территориальных князей; во Франции, напротив, города, подчиненные контролю королевских чиновников («превостов»), были менее автономными, чем другие. Таким образом, можно говорить о европейском коммунальном движении.

Но в этих коммунальных процессах следует подчеркнуть два отличия от Италии. Первое, решающее, заключается в том, что каждая коммуна стремилась к максимальному самоуправлению в пределах своих стен и не имела амбиций построить территориальное господство. Второе — отсутствие серьезных политических изменений в течение XIII века: возможно, потому что это не были города-государства, каждая из этих коммун развивалась постепенно, находясь под сильным влиянием своих истоков — то буржуазных, то, реже, аристократических — и не становясь ареной ни серьезных социальных перемен, ни решительных институциональных переворотов. Эти коммуны были менее заинтересованы в том, чтобы представлять себя как государственные власти, и в основном заботились о регулировании своего сосуществования с теми, кто на местном уровне был наиболее авторитетным представителем государственной власти: епископом, территориальным князем, а часто и непосредственно королем с его представителями.

Х. Мрачный образ средневековья, который уходит в прошлое

В начале было сказано, что два последних века средневековья всегда играли очень важную роль в формировании образа средневековья, который впоследствии укрепился. Люди эпох, начала нового времени знали *это* средневековье и таким же образом интерпретировали и предыдущие века. Голод заставлял представить (и заставляет представить и сегодня) средневековье гораздо более голодным, чем оно было на самом деле; процессы территориальной реорганизации, начатые с помощью феодальных инструментов, привели к ошибочному представлению, что все предыдущие века были феодальными. Заканчивается средневековье ярких красок и жестоких контрастов: в XIV веке были страшные эпидемии, но это не остановило дальний торговлю и крупные ярмарки; войны были многочисленными и тяжелыми, но уменьшилась эндемическая воинственность, связанная с предыдущим мелким раздроблением феодального владения; к власти реже приходили авантюристы, не имеющие легитимности, но крестьянские восстания участились; появилось множество возможностей для открытия новых миров, культура развивалась, но все суеверия сохранились, а религиозные преследования стали еще более жестокими.

Происходила политическая реорганизация с образованием новых государств (национальных во Франции, Англии и Испании; региональных в Германии и Италии). Почти везде местные власти решили перейти под покровительство короля или князя, прибегнув к технике «феодального посвящения», то есть передавая свои территории, чтобы получить их обратно в качестве наследственных феодалов, наделенных полномочиями, узаконенными сверху: перестройка была феодальной, то есть более формальной, чем существенной, но центры власти уменьшились по количеству и обогатились функциями. Эти перестройки означают, с точки зрения больших равновесий, что переход от средневековья к современности представляет собой переход от микроконфликтов между людьми к макроконфликтам между государствами. На всех других уровнях именно люди средневековья определили его

преодоление и посеяли недоразумения о себе. Типичными проявлениями средневековья были дворы, где планировались великие открытия, обогащались научные знания, переживались новые и более утонченные художественные опыты. Средневековье породило новаторов, и это очевидно в любом переходном периоде: но в данном случае исторический период породил своих собственных хулителей, тех, кто передал потомкам не только негативное, но и статичное определение, как будто гуманисты были не детьми мучительного, но богатого тысячелетнего пути, а прямыми потомками абстрактной памяти о древности.

iTalia

XI. Эпоха экспериментов

На предыдущих страницах мы выделили некоторые особенности IX-XII веков в Европе. Теперь имеет смысл задаться вопросом не только о том, что характеризовало (и не в негативном смысле) эти центральные века, но и о том, что они имели общего с другими шестью веками, которые обычно называют средневековыми. Давайте же ответим на простые вопросы, которые обычно не любят историки: в чем смысл средневековья? Чем мы ему обязаны? Зачем его изучать или преподавать?

Возможно, не бесполезно попытаться ответить на эти вопросы: не потому, что неоправданны позиции историков, предлагающих отменить понятие средневековья или размыть его в понятии «длинного средневековья», не потому, что нельзя утверждать, что на более высоких уровнях любознательности любой период должен изучаться только по той причине, что он существовал. Однако мир состоит не только из любознательных и терпимых людей, и в нашей культуре укоренилось стремление мотивировать то, что мы делаем: и иногда это может быть философски не бесполезно. Поэтому имеет смысл поразмыслить над тем, почему профессиональные медиевисты все чаще используют понятие плюрализации власти, а не ее распада: это происходит потому, что сельским владениям средневековых замков признается достоинство как способу функционирования общества.

Не была ли более справедливой и гуманной каролингская Европа, которая могла похвастаться званием государства; не были ли таковыми государство Савойи и государство Висконти, которые многие считали признаками современной эпохи, состоящей из менее раздробленных политических единиц. Да, между гражданами итальянских, немецких или фламандских коммун существовал разный дух общности: но поскольку итальянские коммуны были также заняты завоеванием сельской местности, то мы видим, как они действуют в качестве коллективных угнетателей крестьян, мы видим, как сельские деревни Паданской равнины с энтузиазмом предпочитают власть маркизов Паллавичино, а не господство коммун Пармы и Пьяченцы, которые терроризируют их налоговым гнетом.

Это первый шаг: сравнить все политические формы средневековья, признавая их равное достоинство. На этом этапе сельское господство (мы не называем его феодалом, потому что нет делегирования власти сверху) и коммуна в любом случае были двумя наиболее оригинальными политико-социальными формами средневековья.

Но нужен еще один шаг. Что мы находим еще до появления сельской знати и после коммуны? Мы находим экспериментаторство. Средневековье – это век политико-социальных экспериментов: беспринципных, без принципов или, лучше сказать, с искаженными принципами, но всегда буйных. Это долгий исторический этап, когда люди не верят слепо в разум, но и не верят исключительно в магию. Не верили в государство как в конкретную

структуру повседневной жизни, но постоянно вызывали в воображении идеалы *res publica* или Священной Римской империи. Теоретизировали о небесном порядке, который отражается на земле в виде своего рода ледяной неподвижности, но вполне нормально было встретить епископа тысячелетия, рассказывающего о карьерах, которые за три поколения привели семью, изначально состоявшую из слуг, к рыцарскому званию. Французская революция, свергнув феодализм, считала, что нанесла смертельный удар средневековью. На самом деле она свергла карикатуру на средневековье: неподвижное, пирамидальное общество.

Экспериментаторство проявилось в латино-германском столкновении; в византийских моделях, которые экспортировали в Запад греко-эллинистическую культуру; в различных типах этнического сближения: я имею в виду как взаимодополняемость (королевства готов, где римляне управляли, а германцы сражались), так и сближение (Лонгобардское королевство VIII века, хорошо видное в эдикте Астольфо, когда беднейшие лангобарды были исключены из военной службы, к которой были призваны латиняне, способные приобрести доспехи), и, прежде всего, к самой настоящей интеграции, осуществленной франками, вступившими в контакт с галло-римским миром.

Экспериментальным было создание Каролингов смешанной системы, состоящей из территориальной власти и личной власти, губернаторов провинций римского типа (графов) и верных королю военачальников (*vasalli dominici* или *vassalli regi*). Экспериментальным было создание снизу форм местной власти: сельских сеньорий. Они не были феодами, делегированными сверху, но и не территориями, соответствующими топографии латифундий: они были сферами власти, основанными, да, на земельных владениях, но «территориализованными», более компактными и способными осуществлять гегемонию даже над небольшими владениями, которые сохранились.

В XI веке расширяются другие эксперименты, которые мы можем назвать «имитационными». Часто это процессы взаимного подражания. Графы, чтобы сделать свою власть наследственной, подражают конкретности местной власти землевладельцев; в то же время землевладельцы, создавая свои сферы гегемонии, подражают официальному характеру власти графов, их налогообложению, их осуществлению правосудия. Новые светские власти фактически имитируют иммунитеты, официально полученные от религиозных учреждений. Епископская церковь Рима имитирует иерархическую структуру империи (особенно ту, пусть и эфемерную, построенную или, по крайней мере, попытку построить Оттонами). В свою очередь, империя эпохи Швабской династии имитирует уже устоявшуюся иерархическую структуру Церкви.

Наконец, средневековая коммуна также является большим экспериментатором. Потому что в некоторых аспектах организованного сосуществования жителей она имитирует традиции сельских общин. Потому что на ее политическое проектирование влияют интеллектуалы, которые не исключают культурную отсылку к греческой *полисе*. Потому что она превращает в орган коллективной власти спонтанное сближение аристократических клиентур, таких как вассальные клиентуры епископов. Потому что она обеспечивает функционирование политического разделения между самыми влиятельными городскими семьями. Потому что в процессе развития своих институтов она изобретает первого профессионального политика в европейской истории, подеста.

Отношения коммуны со своим округом остаются в основном традиционными: коммуна фактически создает коллективные сеньории и имитирует (опять же имитация) власть графов, навязывая «крестьянам» — которых тогда начинают называть «*comitatini*», откуда и

происходит слово «contadini», которые должны были подчиняться коммуне, потому что когда-то этим же городом управлял граф, государственный чиновник *par excellence*. Эти территориальные образования коммун унаследовали в Италии городские сеньоры, которые, будучи, как правило, жестокими в военном отношении, часто удавалось придать своим обширным владениям ореол общественной легитимности.

Таким образом, экспериментальный подход мы находим на протяжении всего средневековья. В любом случае, если мы вернемся к средневековью, с которого мы начали, то увидим, что сельская сеньория (не комитеты Карла Великого и не феодалы позднего средневековья) представляет собой настоящую единицу, сначала разбитую на части, а затем вновь собранную, как деревянные кубики из детских игр, которые сохраняют свою индивидуальность как по отдельности, так и в соединении, образуя более обширную и сложную форму. В сельской владении, *dominatus loci* средневековых источников, следует подчеркнуть спонтанность, конкретность, универсальность, однородное распространение модели почти по всей Европе: только Англия и южная Нормандия в Италии, по-видимому, имели пирамидальную политическую структуру, которую старые школьные учебники применяли ко всему западному обществу. И в некотором смысле в *dominatus loci* мы все еще видим эффективность латино-германского взаимодействия: потому что существует защита-угнетение населения (в котором мы находим германскую культуру вождя деревни); и потому что существует постоянное стремление представлять эти феодальные власти как публичные (и здесь действует римская культура государства).

Сельская сеньория средневековья является, таким образом, самой оригинальной экспериментальной формой длительного периода экспериментов. Это конкретное наблюдение о «средневековой абстракции», которое следует делать без эмоций, чтобы увидеть людей и структуры прошлого как в лаборатории, без ностальгии и без экзорцизма.

Основная библиография

Сводка, инструменты, произведения, обсуждаемые в тексте

Альбертони, Г. 1997

Каролингская Италия, Рим.

Альбертони, Г. - Проверо, Л. 2003

Феодализм в Италии, Рим.

Арнальди, Г. 1987

Происхождение государства церкви, Турин.

Арнальди, Г. 1972

«*Media aetas*» между упадком и возрождением, в «*La cultura*», X, стр. 93–114.

Артифони, Э. 2000

L'éloquence politique dans les cités communales (XIII^e siècle), в *Cultures italiennes (XII^e -XV^e siècles)*, под ред. И. Эйлант-Донат, Париж, с. 269–96.

Аццара, К. 2004

Le civiltà del medioevo, Болонья.

Бартелеми, Д. 1990

L'ordre seigneurial. XI^e -XII^e siècle, Paris.

Блох, М. 1949

Феодальное общество, Турин.

Бордоне, Р., Кастельнуово, Г., Варанини, Г. М. 2004

Аристократия от сельских сеньоров до патрициата, Рим-Бари.

Бордоне, Р. 1987

Городское общество Королевства Италия. Формирование и развитие городских характеристик в XI и XII веках, Турин.

Буро, А. 1995

Le droit de cuissage: la fabrication d'un mythe (13^e -20^e siècle), Париж.

Бутруш, Р. 1971 и 1974

Сеньория и феодализм, Болонья, 2 тома.

Каммаросано, П. 1991

Средневековая Италия. Структура и география письменных источников, Рим.

Каммаросано, П. 1999

Аристократия и короли. Политическая Италия в раннем средневековье, Рим-Бари.

Каммаросано, П. 2004

Руководство по изучению средневековой истории, Рим-Бари.

Кантарелла, Г. М., Полонио, В., Рускони, Р. 2001

Церковь, церкви, религиозные движения, Рим-Бари.

Капитани, О. 1979

Средневековье недавнего прошлого. Историографические заметки: между двумя войнами и многими кризисами, Болонья.

Капитани, О. 1987

История средневековой Италии, Рим-Бари.

Кастельнуово, Э. - Серджи, Г. (под ред.) 2004

Искусство и история в средневековье, IV, Средневековье в прошлом и настоящем, Турин.

Читтолини, Г. 1979

Формирование регионального государства и институты сельской местности. XIV и XV века, Турин.

Кортонези, А., Паскуали, Г., Пиччини, Г. 2002

Люди и сельская местность в средневековой Италии, Рим-Бари.

Крузет-Паван, Э. 2001

Ад и рай. Италия Данте и Джотто, Париж.

Делогу, П. 1994

Введение в изучение средневековой истории, Болонья.

Делогу, П. (под ред.) 1988

Периоды и содержание средневековья, Рим.

Дуби, Ж. 1966

Сельское хозяйство в средневековой Европе. Франция, Англия, Империя (IX-XV века), Бари.

Фосье, Р. 1987

Детство Европы: экономика и общество с X по XII век, Болонья.

Фумагалли, В. 1976

Земля и общество в итальянской Падане, Турин.

Гансхоф, Ф. Л. 1989

Что такое феодализм?, Турин.

Гаспарри, С. 1983

Традиционная культура лангобардов. Племенная структура и языческое сопротивление, Сполето.

Хегерманн, Д. 2004

Карл Великий, Турин.

Келлер, Х. 2001

Оттоны, Мюнхен.

Ле Гофф, Ж. - Шмитт, Ж.-К. (под ред.) 2003–2004

Словарь средневекового Запада, итальянское издание под редакцией Г. Серджи, Турин, 2 тома.

Льюис, Б. 1991

Политический язык ислама, Рим-Бари.

Майре Вигёр, Ж.-К. 2004

Рыцари и граждане. Войны, конфликты и общество в коммунальной Италии, Болонья.

Мерло, Г. Г. 2003

Во имя святого Франциска. История меньших братьев и францисканства до начала XVI века, Падуа.

Микколи, Г. 1974

Религиозная история, в История Италии, II, 1, От падения Римской империи до XVIII века, Турин, стр. 431–1079.

Милани, Г. 2005

Итальянские коммуны, Рим-Бари.

Монтанари, М. (под ред.) 2002

Средневековая история, Рим-Бари.

Оккипинти, Э. 2000

Италия коммун. XI-XIII века, Рим.

Орталли, Г. (под ред.) 1994

История Европы, III, Средневековье, Турин.

Панеро, Ф. 1999

Рабы, слуги и крестьяне в средневековой Италии, Турин.

Петруччи, А. 1992

Средневековье для чтения. Руководство по изучению письменных свидетельств итальянского средневековья, Турин.

Пол, В. 2000

Этнические истоки Европы: варвары и римляне между античностью и средневековьем, Рим.

Принц, Ф. 1983

Аскетизм и культура. Бенедиктинское монашество в средневековье, Бари.

Проверо, Л. 1998

Италия местных властей, Рим.

Рейнольдс, С. 2004

Феодалы и вассалы. Новая интерпретация средневековых источников, Рим.

Серджи, Г. 1994

Аристократия молитвы. Политика и религиозные выборы в средневековой Италии, Рим.

Серджи, Г. 1995

Границы власти. Марки и сеньории между двумя средневековыми королевствами, Турин.

Серджи, Г. (под ред.) 1993

Кертис и сельская сеньория: взаимодействие двух средневековых структур, Турин.

Сеттия, А. А. 1984

Замки и деревни в итальянской Падане. Население, власть и безопасность между IX и XIII веками, Неаполь.

Табакко, Г. 1993

Эксперименты с властью в раннем средневековье, Турин.

Табакко, Г. 1996

Профиль истории латинско-германского средневековья, Турин.

Табакко, Г. 2000

От королей к сеньорам. Формы передачи власти в средневековье, Турин.

Табакко, Г. - Мерло, Г. Г. 1981

Средневековье, Болонья.

Тубер, П. 1996

От земли к замкам. Ландшафт, сельское хозяйство и власть в средневековой Италии, Турин.

Трамонтана, С. 2000

Средневековый Юг. Норманны, Швабы, Анжуйцы, Арагонцы в XI-XIV веках, Рим.

Транфалья, Н. - Фирпо, М. (под ред.) 1986 и 1988

История. Великие проблемы от средневековья до современности, Турин, 2 тома.

Виоланте, К. 1986

Исследования церковных институтов центрально-северной Италии в средневековье, Палермо.

Виоланте К. 1995

Историографические перспективы средневекового общества, Милан.